

Лавинцев А. И.

**ТРОН И ЛЮБОВЬ
НА ЗАКАТЕ ЛЮБВИ**

ЛЮБОВЬ И КОРОНА

Любовь и корона

А. И. Лавинцев

Трон и любовь. На закате любви

«Алгоритм»

1910

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

Лавинцев А. И.

Трон и любовь. На закате любви / А. И. Лавинцев — «Алгоритм»,
1910 — (Любовь и корона)

ISBN 978-5-486-03051-2

А. И. Лавинцев – один из более чем 50 псевдонимов Александра Ивановича Красницкого (1866–1917) – русского прозаика, журналиста, драматурга и стихотворца. Став профессиональным журналистом, он работал практически во всех санкт-петербургских газетах и журналах. В 1892 г. Красницкий стал сотрудником издательства А. А. Каспари «Родина». Большая часть литературных работ писателя напечатана в изданиях Каспари и в приложениях к ним; кроме того, многие его произведения вышли отдельными изданиями у Сойкина, Девриена, Вольфа, Сытина. За весь период своего творчества Красницкий написал около 100 романов (в основном исторических), большое число рассказов, стихов, пьес, а также биографические очерки и примечания к полным собраниям сочинений Пушкина, Жуковского, Гоголя, Никитина. Романы «Трон и любовь» и «На закате любви», публикуемые в данном томе, повествуют о страстях царя Петра, его верных и неверных женах, любовницах, интригах, изменах. Автор довольно свободно и субъективно трактует русскую историю тех далеких лет. Однако это не историческое исследование, а роман о любви и ненависти, о верности и ревности, где история – только фон, на котором разворачиваются интереснейшие, захватывающие события, полные драматизма. Это история Великой Любви Великого Человека.

УДК 82/89
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03051-2

© Лавинцев А. И., 1910

© Алгоритм, 1910

Содержание

Трон и любовь	7
I. В царском кружале	7
II. Семейное дело	9
III. Стрельцы-молодцы	12
IV. Уголок Европы	14
V. На совещании	16
VI. Кукуевские замыслы	18
VII. В пасторском доме	21
VIII. Гость кукуевской слободы	23
IX. Боязливая голубка	25
X. За премудростью книжной	27
XI. Сюрприз	29
XII. Ночной переполох	31
XIII. Милославские и нарышкины	34
XIV. Робкое признание	37
XV. Из-за «оборотня»	39
XVI. Царевна-богатырша	41
XVII. На все готовый	43
XVIII. Надорванная мощь	45
XIX. Не разгоревшийся пожар	48
XX. Ночные гости	51
XXI. Смущенный царь	53
XXII. Бегство	55
XXIII. Потухший пожар	58
XXIV. Розыск с пристрастием	60
XXV. Допрос	62
XXVI. Дыба	64
Конец ознакомительного фрагмента.	66

А. И. Лавинцев

Трон и любовь. На закате любви

© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2009

© ООО «РИЦ Литература», 2009

* * *

Трон и любовь

І. В царском кружале

В царском кружале, за отдельным столом в самом дальнем и темном углу, чинно и степенно, не притрагиваясь даже к жбану с пенной брагой, сидели два московских стрельца¹. Оба – молодые парни; бороды у них были совсем маленькие, шелковистые, усы еще не щетинились; подстриженные «под горшки», в кружок, волосы на головах были мягки, хотя вряд ли имелся за ними какой-либо уход. Вообще не заметно было, чтобы эти молодцы обращали внимание на свою внешность. Их кафтаны были местами порваны, местами в заплатках, колпаки грязны и засалены; по лоснящимся полосам на них было видно, что они для своих хозяев частенько служили за трапезами утиральниками. Зато к своим завескам-пищалам² оба молодца относились с очевидной любовью и заботливостью. Пищали, скромно стоявшие теперь со своими сошниками в углу, были начищены, украшены нарезками; на берендейке всюду виднелись серебряные набивки, такие же набивки были и на кровельцах. Ножны кривых сабель были искусно и красиво разделаны, а на ядрах кистеней нанесены такие замысловатые узоры, что этим страшным оружием мог залюбоваться всякий любитель искусства.

Словом, у этих двух грязных нерях все щегольство было в их оружии, которым они, видимо, немало гордились.

Один из этих стрельцов был сухощавый высокий жгучий брюнет с мелкими нерусскими чертами энергичного лица.

Другой – типичный русак, да притом еще русак московский: плотный, коренастый, с высокой богатырской грудью, широкими, в косую сажень, плечами, с длинными мускулистыми руками. Его лицо было добродушно и выражало полнейшую апатию; в голубых глазах не отражалось ничего, в то время как черные глаза его приятеля то и дело поблескивали искорками.

Высокого черного стрельца звали Васькой Кочетом, а крестовое имя его товарища было Федор, но в кругу стрельцов все называли его Середа Телепень, и он так привык к этому прозвищу, что даже не откликался, если его звали настоящим именем.

¹ *Стрельцы*, первоначально пищальники, – постоянное московское войско, явившееся после введения в Московском государстве огнестрельного оружия. Правильное устройство они получили при царе Иоанне Грозном. Стрельцы делились на стрелецких (царская гвардия), московских (пехотная армия) и украинских (гарнизонные). Они делились на приказы – полки; в каждом приказе начальствовал стрелецкий голова – полковник, подчиненный воеводе (генерал); ниже головы были: сотники, пятидесятники. Каждый приказ, т. е. полк, состоял из 1200 человек, живших вместе особыми слободами, набравшихся из «ничьих», «никчемных», «гулящих», но никак не пашенных, не крепостных и не тяглых людей, «молодых и резвых». Десятники и пятидесятники выбирались из среды стрельцов, сотники ставились из боярских детей, головы – непременно из дворян. Стрелецкая служба была пожизненной и наследственной. В обыденной жизни стрельцы пользовались всякими гражданскими преимуществами: например, торговали беспрошленно, не платили судебных сборов; также без оплаты сборами варили пиво и курили вино.

² *Пищаль*, или ручница, а также самопал – небольшое, но довольно тяжелое огнестрельное оружие, составлявшее главное вооружение московских стрельцов XVII и XVIII вв. Их носили обыкновенно на перевязи за спиной и называли «завесками», или завесными, в отличие от «заспинных» пищалей – не ручного, а артиллерийского огнестрельного оружия. «Берендейка» – ремень через левое плечо, на котором носили «зарядци» под «кровельцами», т. е. особыми деревянными долбленными крышками; к берендейке же привешивалась и сумка пулечная, рог с порохом, а впоследствии и натруски; иногда на берендейку наматывался и запальный фитиль. Сошки, или подсошки, – подставки с вилообразным наконечником, на который укладывалось при стрельбе дуло довольно тяжелой пищали, а после – мушкета. Холодным оружием стрельцов были: сабля с искривленным клинком, бердыш – секира с длинным, искривленным лезвием, насаженным на роговище (древко), кистени, ножи запоясные и засапожные; с конца XVII в. появились палаши, протазаны (почетное оружие – золоченое копьё с кистью под ним) и алебарда – то же копьё, но без кисти.

Несмотря на молодость, бедность и незначительность среди других стрельцов, и Кочет, и Телепень были молодцы, Москве, в особенности ее царским кружалам³, хорошо известные. Весьма известны они были и в стрелецком приказе, где голова нередко учил их батогами и кнутом за весьма не малые разбойные дела, за всяческое поношение приставов и подьячих, которых терпеть не могли оба молодца, в особенности когда хмель будоражил их забубенные головушки. Но наука головы мало помогала. До самого воеводы доходили жалобы, но Кочет был ловок и увертлив: и сам вывертывался, и Телепня часто вызволял из неминуемой беды; а с Телепнем он был самый закадычный друг. Про них, перенимая польский способ выражаться, так и говорили, что Кочет и Телепень – оба два и что никогда их и водой не разольешь...

Впрочем, в то буйное время – последние годы XVII столетия, – когда над всем государевым делом верховодила огонь-царевна Софья Алексеевна и полагала себе опору во всем именно на стрельцах, на стрелецкие «шалости» глядели сквозь пальцы. Стрельцы были могучей силой: за кого они стояли, тот и был владыкой всему, а потому раздражать их мелкими придирками было не всегда безопасно.

На этот раз забубенные стрелецкие головушки были совсем трезвы, хотя Кочет и Телепень порядочно-таки времени уже сидели в кружале.

Целовальник из-за своей стойки с неудовольствием поглядывал на молодцов, видя, как они то и дело перешептываются между собой и пальцем не притрагиваются к жбану со столь любимой хмельной брагой.

– Чего это они? – наконец не вытерпев, спросил он у подручного. – Ведь ежели так-то гостить у нас будут, так и оклада не внесешь, идти на правеж придется...

– Вишь, ждут! – отозвался подручный.

– Кого еще?

– А тут ополдень Анкудин Потапыч забегал. Поди, знаешь, боярина Каренина старший холоп и его сыновей дядька-пестун...

– Ну, знаю! Не велик кус – боярин-то Каренин... На Москве он наезжий, воеводство, говорили, промышлять прибыл, да не в такое время явился... Тут и без него своих московских до воеводства без конца без краю охочих... Так что же ему от этих-то, – слегка кивнул целовальник в сторону стрельцов, – понадобилось...

– Не знаю я того... Только больно Анкудин Потапыч наказывал, как придут Кочет да Телепень, задержать их до него, вино и угощенье им выставить да последить при том, чтобы в порядке были... Видно, важное дело какое... Да вот он и сам жалуется, легок на помине...

³ *Кружало* (раньше «кабак откупной», потом кружечный двор) – казенная винная лавка в древности. Кружала были царские, боярские, духовные. В первых можно было пить только крестьянам и посадским; вторые отдавались на откуп или в арендное пользование, «кормление», за заслуги. В них продавались различные горячительные напитки, причем «кабацкие суммы», т. е. доход с кружал, поступали в казну. В кружалах торговали «верные целовальники» с подручными, подчиненные земским старостам и обязанные представлять «оклад», т. е. выручать от торговли заранее назначенную сумму. Верные целовальники были люди выборные и, в случае непредставления полностью оклада, должны были идти «на правеж» (т. е. во что бы то ни стало пополнять недобор, переходивший и на их избирателей). Благодаря этому и вкоренилось пьянство в русский народ; целовальники, в особенности когда число кружал увеличилось, положительно спаивали народ, преследуя свои цели. В конце XVII в. все управление «кабацкими делами» было сосредоточено в приказе Большого дворца и в приказе Большой казны, т. е. в высших финансовых установлениях государства.

II. Семейное дело

В кружало, слегка хлопнув дверью, вошел небогато одетый худощавый старик. Он был мал ростом, но его глаза, умные и живые, показывали, что хотя его тело и немощно от прожитых на свете многих лет, но дух бодр. Он так и бегал взором по кружалу и, заметив стрельцов, еще с порога приветливо улыбнулся им. Потом скинул колпак, истово помолился на прикрытую убрисцем икону, поклонился целовальнику (он кланялся как-то особенно низко, словно заискивая перед ним) и уже после этого бегом продвинулся к поднявшимся при его появлении со скамей стрельцам.

– Здоровы будьте, удалцы-молодцы, – первым заговорил, присаживаясь, старик, – ежели запозднился, не виноватые... Сами знаете, не свой я... боярин мой позадержал... Да что же мы так-то сидим? Али у целовальника все зелено вино выпито и на нашу долю ничего не осталось? Эй, Евстигнеич, – захопал он в ладоши, – дай-ка сюда, что там у тебя покрепче есть... Вот и я, старик, с молодежью хлебну малую толику, вспомню годы, когда сам таким же был. И-и, молодцы! И лихой же я парень был, вот когда в ваших годах был... Только давно это было, ух, как давно... еле-еле сам-то те дни вспоминаю.

– Да ты, Анкудин Потапыч, – перебил его Кочет, – перво-наперво про дело скажи, а выпить-то мы успеем, за нами не гонится никто...

– У-у, какой горячий! – засмеялся старик. – Всегда ли ты так до дела-то охоч?

– Да уж там, когда охоч, когда нет, про то я сам ведаю, – уклонился от прямого ответа Кочет, – а ты зубов-то не заговаривай, дешевле, чем себе стоит, все равно с тебя не возьмем... Выкладывай, на что мы тебе понадобились... Да не ври, смотри! Все равно не поверим...

– Уж и «не ври»! – обиделся старик. – Врать я ничего и не собирался...

– Постой, – опять перебил его Кочет, – я к тому тебе такое слово сказал, чтобы ты, про дело с нами говоря, вахляться не вздумал... Если нуждаешься ты в услуге нашей, так между нами все начистоту должно быть... Заранее тебе, Потапыч, говорю: на подвох какой-либо там мы не пойдем, на подлое убийство тоже...

– Полно, полно ты, полно! – так и замахал на него руками Потапыч. – Окрестись ты! Какое ты слово вымолвил: «убийство подлое!» Меня инда мороз по коже пробрал... Что ты, Господь с тобою! Разве мы с боярином решимся на такое дело?..

– Ну, помалкивай! – оборвал его Кочет. – Знаем мы, на что ваша боярская братия готова... В таком деле кто для них помеха? Нож под левые ребра всадить не задумываются... У каждого простого человека крест на вороту есть, а они все свои давно черту продали...

– Молчи! – даже в ужас пришел Потапыч. – Негоже мне такие речи слушать...

– Так вот ты и не слушай, а говори про дело-то...

Потапыч помялся, хлебнул из ковша и, собравшись с духом, начал:

– Вот оно что, сердешные: не об убийстве моя речь пойдет. Богом клянусь, ничего такого ни у боярина, ни у меня и в голове не было...

– Так чего же ты мямлишь-то...

– Да дело-то совсем особенное, семейное, можно сказать, дело; вот оттого и язык прилипает к гортани... Радости никакой говорить нет, а плакать хочется... А тут еще ты цыкаешь...

– Семейное дело? Слышь, Телепень? – ткнул Кочет в бок приятеля.

– Ну, слышу, – лениво отозвался тот, потягивая из ковша брагу, – мне-то что? Я-то ведь не боярин... Вот когда их бить позовут, так со всем моим удовольствием... На любой гили впереди всех пойду...

Кочет махнул рукой и, повернувшись к Потапычу, сказал:

– Семейное, говоришь, дело? Ну, докладывай, в чем оно у вас будет.

– А вот в чем... Ведомо вам, поди, что боярин-то мой Родион Лукич на Москве наезжий... Еще при Тишайшем царе Алексее Михайловиче в молодости услан он был в украинные города на цареву службу и правил ту службу не за страх, а за совесть, сил и живота своего не шадя. А потом, как помер блаженной памяти Тишайший, да пошли при его сынке новые порядки, и не понадобилась Москве боярина моего верная служба. Известное дело, разобделся он и отъехал в свою вотчину. Таить не буду, отъезжая, думал, что вспомнят его да позовут. Ан нет!.. Недаром говорится: «С глаз долой, из сердца вон»... Так и с моим боярином вышло... Жил он жил, видит, никто не зовет, а тут сынки у него поднялись – свет Михайло да Павел Родионычи... Я их пестовал и на коне ездить учил, и пицаль да саблю в руках держать приучил, да вышла беда в том, что не один я около них был...

– Как ты не один? – спросил Кочет, заинтересованный рассказом старика. – Кто же еще?

– Да ты постой, не перебивай... дай время, все скажу... – И Потапыч, здорово хлебнув из ковша, продолжал свой рассказ: – Матушка-то боярыня наша Анисья Сергеевна – дай ей, Господи, царство небесное, в селении праведных со святыми упокой ее душеньку! – добрая была; сам-то боярин во гневе куда как лют... Когда скончалась она, сынки-то только что из младенческого возраста вышли; родила она на последях боярину дочку, Зою Родионовну – красавица теперь писаная боярышня! – а после родов и преставилась... Остались дети малые полукруглыми сиротами... Материнский глаз – алмаз, а отцовское попечение уж известно какое... При том же боярин Родион Лукич по кончине боярыни своей в соку мужчина остался... Вдругорядь деток жалеючи, жениться не стал, да и схимы тоже не принимал... А теперь такое время пошло, что и иноки не всегда ангельскую чистоту соблюдают, а нам, мирянам, и подавно, где же подвиг воздержания подъять? Вот и вышло дело. Поселил он у себя в хоромашах немчинку молодую якобы для обучения деток всяким иноземным наукам... Ох уж эти заморские науки, нет в них проку русскому человеку! Одна для него наука пользительна: батожьем, а нет, дубьем скорей всего ему ум-разум пришьешь... Говорил я про это боярину моему, ну, пусть бы он сам с немчинкой занимался науками-то, а детей только не портил бы, так не послушал он меня, своими собственными руками о мою подлую холопскую спину трость за такие слова измочалил, а вышло в конце концов все-таки по-моему... Детки-то у него по-иноземному лепечут, боярышня, кроме того, на такой штуке, что немчинка клавесинами называла, играть обучена, а немчинка-то сбежала, да не одна, а со всем своим приплодом: парочка – барашек да ярочка...

– А куда сбежала-то? – полюбопытствовал Кочет.

– Куда ж как не на Москву, а отсюда, где ж ей укрыться, как не в Кукуй-слободе...⁴ Ведь там все эти чужеземные поганцы⁵ ютятся да табачищем своим проклятым московские святыни окуривают...

– А у них там, в Кукуй-слободе, весело, – поднял голову Телепень, – я оттуда не ушел бы...

– Кабы тамошние парни тебе за своих девок боков не намяли, – перебил его Кочет и, обращаясь к Потапычу, спросил: – Так в чем же наше-то дело будет?

– А ты погоди, до всего черед дойдет, – отозвался старик. – Или слушать прискучило?

– Да нет, – признался стрелец, – вот жду, когда ты до самого толку доберешься...

⁴ *Кукуй-слобода* находилась под Москвой, между Яузой и ручьем Кукуй, название которого, по мнению некоторых, произведено от немецкого слова *kucken* – смотреть. Слобода возникла еще при царе Иоанне III Собирателе, когда в Москву были вызваны для возведения дворцов иностранные рабочие. При Иоанне Грозном это было уже большое поселение, в котором жили исключительно иностранцы, наехавшие в Россию. Слобода пользовалась правом самоуправления; в ней были своя церковь, лавки, училище. В Смутное время она была сожжена, но затем восстановлена при царе Алексее Михайловиче. К концу XVII столетия здесь жило до 15 тысяч иностранцев, старавшихся обособиться в своей жизни от москвичей. В настоящее время от Кукуй (Кукуевой) слободы остались только одни письменные памятники. Ее население было пестрое: шотландцы, англичане, ирландцы, немцы в особенном изобилии, французы, итальянцы и т. д. Нельзя сказать, чтобы москвичи относились к этим высленцам враждебно, но и особенно дружественных отношений тоже не было.

⁵ *Поганый* – от латинского *paganus* (язычник).

– Сейчас все, как на ладони, выложу... Только попу на духу нишкните про то, что я вам сейчас скажу, – понизил старик голос до шепота. – Все тут у вас на Москве думают, что наш боярин воеводства искать наехал, так нет же, нет! Приворожила, знать, его немчинка проклятая. Уж чего-чего он не делал, а грызла его лютая тоска... Еще бы! И по ней-то, подлой, ноет сердце, и о ее приплоде душа болит, вот и не вытерпел боярин мой, собрался и прикатил. А тут опять беда; сынки-то, Мишенька да Павлушенька, как на Москве огляделись, сразу на Кукуй-слободу путь нашли... Видали уж их там... Чтобы они немчинку искали, этого я думать не могу: не знают они, куда она сбежала, да и мы-то тоже этого не знаем, а так догадки наши об этом... Только теперь что же выходит?.. Боярин-то Родион Лукич так бы вот к поганцам и полетел...

– Чего же ему не полететь? – опять вставил свое слово Телепень. – Боярин Василий Васильевич Голицын⁶ куда повыше его, а бывать в Кукуй-слободе не брезгует...

⁶ Князь Василий Васильевич Голицын (1643–1714) – один из выдающихся передовых людей своего времени. Он был прекрасно образован, в совершенстве владел немецким, латинским и греческим языками, в молодости участвовал в чигиринских походах, потом сблизился с царем Федором Алексеевичем и добился местничества. В то же время он интимно сблизился с царевной Софьей, любившей его. В 1682 г. Голицын стал во главе Посольского приказа, т. е. занял пост министра иностранных дел, и выказал себя искуснейшим из дипломатов своего времени. Фактическое присоединение Малороссии с Киевом – его дело, но двукратные крымские походы, предпринятые им согласно договору с Польшей, были неудачны. После падения царевны Софьи Голицын был сослан Петром I сперва в Вологду, затем в Яренск, а потом в Архангельскую губернию, где в селе Кологорах и умер 71-го года от роду.

III. Стрельцы-молодцы

Потапыч ничего не сказал в ответ Телепню, только зло сверкнул глазами в его сторону, обиженный таким не особенно лестным отзывом стрельца о его боярине.

– Так вот, говорю я, – продолжал он, – боярин мой так бы и полетел в Кукуй-слободу, да боится там со своими ребятами встретиться... Ведь они-то ничего не знают о стыде да о грехе его... Вот и надумал боярин мой, чтобы поискали немчинку в Кукуй-слободу такие верные люди, на которых положиться можно было бы, а после ему доложили бы, как, что, где? Тогда-то он уже сам надумает, что ему дальше делать...

– Так чего же твой боярин от нас желает? – спросил Кочет. – Чтобы мы эту немчинку разыскали?

– Это бы уж совсем хорошо было, – ответил Потапыч, – только допреж всего нужно знать, есть ли она там, или нет... Ведь говорю же, что этого мы и сами толком не знаем...

– Так, так, – покачал головой стрелец, – вот оно дело-то какое! Как ты, Телепень, о нем думаешь?

– А мне что ж? Поискать так поискать, – последовал вялый, ленивый ответ. – Уж ежели думать, так ты, Кочет, думай, а я за тобой пойду...

– Вы не думайте, – вставил свое слово Потапыч, – боярин мой за казной не постоит... жалованье великое получите... Казны-то у него много...

– Еще бы, – усмехнулся Кочет, – на воеводстве был...

– Ну, ну, чего там! – заворчал Потапыч. – Не вашего ума то дело... Говори-ка лучше: беретесь вы разведать, живет ли немчинка в Кукуй-слободу?

– Отчего ж не взяться-то, ежели жалованье хорошее будет, – усмехнулся Кочет. – Только вот редко мы там бывали, не запутаться бы, – раздумчиво произнес он, – Телепень вот до заморских девок падок, так лазил туда, а я в Кукуй-слободу только с посылкой из приказа бегал. Погоди малость, Анкудин Потапыч, дай умом пораскинуть...

– Раскидывай, торопить не буду, – ответил старик, наливая ковши. – Вот хлебни, это помогает, ежели кто думу думает...

– А как эту немчинку кличут? – полюбопытствовал в первый раз Телепень.

– Постой, малый, – остановил его Потапыч, – про то после речь будет... Да вот еще что, молодец, – обратился он к Кочету, – заодно уж желательно боярину моему знать, что в Кукуй-слободу его детища делают, у кого бывают, с кем время делят... Родительское сердце-то болит...

– Стой, Потапыч, стой! – перебивая его, воскликнул Кочет. – Нашел я, знаю, как ваше дело обделать; ту самую думу, которая мне нужна была, за хвост ухватил... Шляются, говоришь, сынки-то боярские в Кукуй?

– То и дело... Вдругорядь днюют и ночуют там... Я вот сюда побрел, а они туда улизнули...

– Так, так... А знаешь ли что? Ведь я этих твоих молодцов видал... Дрались мы с ними... Молодцы они парни, и в драке, и в попойке лихи.

– Ну вот, скажешь тоже! – недовольно проворчал старик. – Станут они свои боярские ручки о вас, подлых⁷, трепать...

– Бывало дело! – самодовольно усмехнулся Кочет. – Вот теперь это все пригодилось... Знаю я, что нам делать, как приступить... Найдем мы с Телепнем вашу немчинку, ежели она только в Кукуй-слободу живет, живо найдем... Они-то, боярина твоего сынки, туда, говоришь, пошли?

⁷ Подлый – в старину всякий человек низшего звания, простолоудин.

– Ох, туда...

– Важно! Принимаем мы твое дело! Давай теперь о жалованье говорить... Вот мой сказ: по два рубля на брата да угощение твое!

Потапыч даже взвизгнул, услышав условия Кочета. Два рубля в то время были вовсе не малой суммой, а служба, которая надобна была боярину Каренину, старику Потапычу казалась пустяшною.

– Ишь заломил! – взволнованно воскликнул он. – Пожалуй, дело так у нас не сойдется.

– Не сойдется и не надо, – равнодушно ответил молодой стрелец.

Но торг все-таки начался. Потапыч торговался до слез, божился, клялся всеми святыми, каких только знал, но стрельцы непреклонно стояли на своем. Делать было нечего, в конце концов старик согласился, и ударили по рукам.

– Вот теперь и выпить можно! – заявил Кочет, до того не прикасавшийся к ковшу. – Ставь, что ли, хмельного, за скорую удачу выпьем...

Однако теперь Потапыч заторопился домой. Он приказал выставить стрельцам брагу, а сам за шапку было взялся, да не таковые молодые стрельцы были, чтобы его без задатка выпустить. Как ни вертелся старый холоп, а задаток им выдал и за угощение все сполна заплатил и только тогда с миром был отпущен из кружала.

Оставшись одни, стрельцы потребовали себе еще брагу и повели уже разговор о том, как им выполнить принятое на себя поручение.

– Плевое это дело совсем, как я обмозговал его, – сказал Кочет, – ежели выйдет нам удача, так нынешней ночью, может, с ним покончим...

– Да ну? – усомнился Телепень.

– Верно слово... Мишеньку да Павлушеньку Карениных мы с тобой оба знаем. Так ведь?

– Знаем, – отозвался Телепень, – я лишь про то не хотел при Потапыче сказывать...

– Так вот, ежели они и зачастили в Кукуй-слободу, так неспроста. Вернее верного, что они боярскую разлапушку уже давно разыскали... Парни-то взрослые, смекают, в чем дело... Да потом все-таки хоть и приبلудные, а там у них братишка с сестренкой... У нее, у немчинки этой, они и толкуются... Вот пойдем мы с тобой ночью, да будем в избы люторские по окнам заглядывать; где эти молодцы окажутся, там и немчинка боярская... Вот тебе и все... Верно?

– Верно-то верно! – согласился Телепень. – А ежели бока взмылят?

– Ау, волков бояться – в лес не ходить... Да и не впервой нам с тобой в переделках бывать. Ни с того ни с сего не тронут, а ежели тронут, так и сдачи дадим... И тянуть нечего, пусть боярские рубли по нашим кошелькам недолго плачут... Так, что ли, друже?

Телепень только заулыбался в ответ. Он хотя и часто вспоминал про «взмыливание боков», но на самом деле нисколько не боялся этого... Его физическая сила была огромна, и менее сильный, но зато более умный Кочет пускался без всякой боязни на самые отчаянные проделки, когда в них вместе с ним принимал участие его товарищ. А Телепень тем охотнее соглашался участвовать в предложенном им розыске, что на Кукуй-слободу у него кое с кем были давнишние счеты, и он не прочь был, наконец, свести их. Одно ему не совсем нравилось – это то, что Кочет заспешил и надумал идти ночью. Лень было выходить из кружала – так было в нем уютно; но раз уговор был заключен, исполнить его было нужно.

IV. Уголок Европы

Кукуй-слобода и в самом деле была уголком Европы в Московии. По своему внешнему виду это был чистенький, опрятный городок средней Германии. Словно какой-то великан взял его с прирейнской долины и переставил сюда, на Яузское урочище.

В центре Кукуя стояла небольшая, но строго выдержанная в готическом стиле церковь, конечно, лютеранская, так как католиков среди кукуевцев было совсем мало. Вокруг церкви раскинулась опрятная площадь, настолько обширная, что когда по воскресным дням в Божий храм собирались почти все обитатели слободы, то по окончании службы, когда они, как и у себя на родине, любили постоять да побеседовать об общественных делах, было совсем не тесно. Внутри церковь была весьма опрятна, кафедра просторна и украшена замысловатой резьбой, а пастор – симпатичный представительный старик – говорил такие проповеди, что слушатели совсем позабывали, что они не на своей родине, а под боком у совершенно чуждой им и по быту, и по складу мышления столицы.

От церкви во все стороны, как радиусы от центра, расходились прямые чистенькие улочки, не очень широкие, но все-таки достаточные, чтобы разъехаться двум подводам. Дома были небольшие – в каждом помещалось только одно семейство, – но весьма своеобразной архитектуры: узкие по фасаду, с остроконечными цветной черепицы крышами. Только у тех домов, которые выходили на площадь, окна были в лицевом фасаде, да и то в этих окнах были вделаны прочные решетки; у большинства же домов на улицы выходили глухие стены с одной массивной дверью и рядом почти незаметных отверстий-бойниц. У таких домов лицевой фасад выходил во внутренний двор, на котором обыкновенно разбивался если не сад, то цветник. Такое оригинальное расположение фасадов оправдывалось в данном случае желанием обратить каждый дом в небольшую крепость, вполне пригодную для защиты при нападении. Кукуевцы были и осторожны, и предусмотрительны. Они знали, что московская чернь, и в особенности буйные стрельцы, относятся к ним недружелюбно и в случае какой-нибудь гили, то есть буйной народной вспышки, им придется самим себя отстаивать. Однако над многими домами на длинных, выдававшихся вперед прутьях болтались своеобразные вывески в виде изображения тех предметов, которые можно было приобрести в данном доме. Некоторые домики, особенно те, которые выходили на площадь своими лицевыми фасадами, были не так уже строго выдержаны в излюбленном германцами стиле. В их архитектуре чувствовались местные московские веяния: коньки были с причудливой резьбой, ставни у больших окон тоже. Только дом старого пастора был выдержан в строгом стиле.

Лучшим из домов Кукуя был, кроме обширного дома пастора, дом Джемса Патрика Гордона⁸, «Петра Иваныча», как его звали русские, шотландского выходца, бывшего, так сказать, «первым человеком» в слободе. Гордон, порядочно образованный по тому времени человек, был в большой чести у всеильного князя Василия Голицына. Он много лет состоял на русской военной службе, участвовал в Чигиринских походах, когда и сблизился с Голицыным. У последнего в его дворце он бывал запросто, сама неукротимая царевна Софья спрашивала советов Гордона, и через него в Кукуй-слободе раньше, чем в Москве, становились известными все придворные новости.

Затем красив и обширен был дом богача-винооторговца Иоганна Монса. Бедняком явился Монс в Кукуй-слободу искать у московитов своего счастья и нашел его. В десяток лет, не больше, он стал одним из богатейших колонистов. Потолкавшись на Москве, он узнал, что в кружалах могут пить только «подлые люди», а всякий, кто принадлежит к сословию повыше,

⁸ *Джемс Патрик Гордон* (1635–1699) – шотландский выходец, инженер по образованию. На службе у московского правительства Гордон был с 1661 г., а до этого сражался в войнах Швеции и Польши.

должен был постоянно держать запасы дома. На этом Монс и построил свое благополучие: ведь законы – одно, а жизнь – совсем другое! Он ухитрился завести винный погреб, стал отпускать «заморские вина» небольшими бочонками и быстро составил себе большое состояние на этом.

Далее среди наиболее видных поселенцев Кукуя был австрийский агент Плейер⁹, зорко наблюдавший в Москве, потом выделялись образованный швейцарец Лефорт¹⁰, другой Гордон, Александр, оставивший после себя своим лучшим памятником историю этих лет, инженеры – француз Марло и голландец Иаков Янсен, казавшиеся большими знатоками военного и пушкарского дела, Адам Вейде, Иаков Брюс, а в последнее время, по особенным причинам, вдруг выдвинулся совсем скромный корабельный мастер, лучше сказать, корабельный плотник, Франц Тиммерман.

⁹ Отто Антон *Плейер* прибыл в Россию якобы с торговыми целями. Под видом простого купца он следил за всем, что делалось в России, и посылал подробные донесения императору Леопольду. После переворота он был уже явным дипломатическим агентом и одно время резидентом. Покинул Россию в 1718 г.

¹⁰ Франц Яковлевич *Лефорт* родился в 1655 г. в Женеве, в Россию явился в 1675 г., поселился в Кукуй-слободе, где и женился на родственнице Гордона. Благодаря последнему был принят на русскую военную службу, участвовал вместе с Гордоном в походах, приобрел расположение князя Василия Голицына, впоследствии принял сторону Петра и был до конца жизни одним из деятельных его сподвижников. По отзывам современников, это был отважный рубака, большой говорун, весельчак. Он основал под Москвой Военную и Лефортovu слободу. Умер в 1699 г.

V. На совещании

В один из праздничных дней, по призыву Джемса Гордона, все более видные и влиятельные лица собрались в его доме. Гордон без особенной крайности никогда не беспокоил никого; значит, если он созывал совещание, у него было что-нибудь особенно важное, требующее не только общего обсуждения, но и общего согласия. А это в свою очередь знаменовало то, что кукуевцам откуда-то грозила серьезная опасность. Поэтому у всех собравшихся к Гордону были напряженно-серьезные лица, на которых отражалась тревога.

Как и всегда, по безмолвному уговору, роль председателя досталась Гордону. Он не стал томить своих гостей и, после того как все разместились в зале его богатого дома, закурили трубки и принялись за объемистые кружки с пивом, заговорил:

– Друзья мои, я созвал нас не для веселья, – Гордон говорил по-немецки с небольшим акцентом, – а для того, чтобы выяснить наше положение. С глубокой печалью говорю, что у меня имеются весьма тревожные сведения относительно недалекого будущего, настолько тревожные, что я не счел себя вправе не поделиться с вами.

– Что же такое ожидается? – робко спросил Лефорт. – Уж опять не злоумышляют ли на молодого царя Петра?

– Похоже на то, мой дорогой друг, – ответил Гордон. – Царевна-правительница хочет одним разом изменить все положение. Да оно и на самом деле становится нестерпимым. Петр молод, порывист и неукротим так же, как и его сестра София. Московиты говорят, что в одной берлоге два медведя не уживаются, а тут таковые налицо... Ужасно! Брат и сестра одинаковы по характеру... Один стремится к власти, другая защищает то, что у нее в руках... Кто возьмет верх, известно одному только Господу!.. – Гордон немного помолчал и потом продолжал с заметным подъемом: – Не сегодня-завтра на Москве должны произойти события... кровавые, скажу я, друзья мои, события. Две силы вступят в решительный спор, и от того, которая из них одолеет, зависит будущее множества людей, целого государства, целого народа, скажу я... Мы не можем быть равнодушны к предстоящим событиям, и для того чтобы определилась и наша роль, я и решился созвать вас...

– Да, – отозвался сумрачный Вейде, – наши мушкеты и алебарды бесспорно могут дать перевес той стороне, на которую мы станем, а я и герр Брюс знаем толк в этих вещах... Потом кто же будет участвовать в ожидаемых вами, герр Гордон, кровавых событиях? Московская сволочь¹¹, не вооруженная, – сильная, когда она в массе, и ничтожная под напором организованной силы. Потом это стрелецкий сброд; но он – такая же сволочь, как и московская чернь... Все они способны только на бессмысленные неистовства. Вот почему я совершенно не боюсь ни за себя, ни за нашу колонию.

– И я также, – легко усмехнулся Гордон, – но я, мой уважаемый герр Вейде, и не говорю об этом; я говорю только о том, какова будет наша роль в предстоящих событиях, на чью сторону мы станем.

– Но не будет ли это вмешательством во внутренние дела Московии? – осторожно заметил Плейер. – Ведь мы здесь чужие... Как мы можем в подобной борьбе принимать ту или другую сторону?

¹¹ В своем древнем значении это слово никогда не было бранным. Оно означало толпу людей, которую при всенародных переписях охватывали («сволакивали») определенной длины веревкой. Количество людей, помещавшееся при обхватывании от одного конца веревки до другого, и заносилось в списки, потом охватывалась («сволакивалась») другая толпа людей, и в конце концов определялось, сообразно записанным цифрам, общее количество населения в данной местности. По именам вносились в списки лишь те, кто пользовался тем или иным преимуществом. Отсюда под названием «сволочи» был известен люд, при переписях поименно не перечисляемый в списках.

– Я люблю царя Петра, – приподнялся швейцарец Лефорт, – но думаю так же, как и Плейер.

– А я верую, – восторженно воскликнул пастор, – что будет так, как угодно Небу... Что мы такое? Жалкая трава, ничтожные былинки! Небо пошлет ветер, и он сдует нас без следа... Но вместе с тем, создавая человека, Господь Творец вдунул в него душу свободную, и я думаю, что мы, прежде чем постановить решение, должны всесторонне обсудить это дело.

– Я думаю так же, – с улыбкой проговорил Гордон, – и потому предлагаю вам высказаться... Пусть каждый скажет, что он думает, и тогда...

Однако желающих говорить не было. Хотя все в Кукуевской слободе знали о подготовившихся грозных событиях, но все-таки заявление Гордона застало всех врасплох, и никто не решался принять на себя ответственность за высказываемое мнение.

– Если никто не желает сказать свое мнение, – проговорил, наконец, Гордон, – то да будет позволено сделать это мне... Прошу снисхождения и терпения, так как моя речь будет несколько продолжительна.

Гордон откашлялся, поправился в кресле и заговорил сперва ровно и спокойно, но потом все более и более возвышая голос и делая по временам эффектные перерывы и паузы.

– Я совершенно согласен и с моим дорогим Плейером, – говорил он, – да что поделывать: мы здесь, в Московии, совсем чужие... Мы в самом сердце народа, совсем нам чуждого и по духу, и по крови, и по обычаям, и по вере... Мало того, скажу, не боясь обидеть вас, что этот народ смотрит на нас, как на занозу в своем теле... Но позволю себе спросить вас: а разве там, откуда мы все пришли сюда, на родине, мы не чужие теперь? Разве мы не сами покинули те места, где жили и успокоились на земле наши отцы, деды, предки? Не думаю, чтобы слезы не полились из глаз того, кто покидает родину для этой полудикой и буйной страны. И вряд ли кто-либо из нас не потерял надежды вернуться назад в родные места...

– Да, он прав! – перебил оратора один из слушателей. – Нам нет возврата...

– На родине не будет хуже, чем здесь... – сказал другой.

– Тсс... Послушаем, что скажет господин Гордон дальше...

Все опять стихло.

– Отчего же мы все ушли оттуда? – задал риторический вопрос Гордон. – Ведь родина и поныне дорога нам, воспоминания о ней – самые радостные для нас... Что же это значит? Мы изменили своей стране, своему народу? Нет, тысячу раз нет! Я объясню все проще. На родине на нашу долю не хватало счастья, и мы отправились за ним на сторону... Да, да, так это. И мы нашли это свое счастье среди чужих, – Господь был в достаточной степени милостив к нам. Можем ли мы возвратиться? Я полагаю, что нет... Мы отстали от своего народа, который ушел далеко вперед; в настоящее время мы в родных нам странах будем более чужими, чем здесь, и потому я уверен, что немногие решатся на возвращение... Да и к чему? Тесно там, всюду избыток населения, все страны Европы стараются сбывать его. Я имею много писем от европейских друзей и могу судить, что там делается. Франция, Англия, Испания массами сбывают свое население в Новый Свет, голландцы сбывают его в Китай, Португалия – на архипелаги Индийского океана; между Францией и Англией идет постоянная морская война из-за Индии. Остаются Германия и Римская империя. Там тоже тесно, там тоже скоро земля не будет в состоянии прокормить все рты. Куда же кинуться германскому избытку? У тевтонов нет колонизаторских способностей. В Новом Свете пионерам приходится вести страшную борьбу за существование. Германцы не способны на это. Конквистадоры на южном американском материке беспощадно истребляют аборигенов, а германцы не способны и на это.

– Это – совершенная правда, – раздался голос одного из собравшихся, – господин Гордон подметил верно: тевтоны не насильники, их орудие завоеваний – мирный труд, а не кровопролитие...

VI. Кукуевские замыслы

Патрик Гордон улыбнулся говорившему и продолжал:

– Для выселения германцев нужна страна с зачаточной культурой, а они, придя в нее, помогут населению развиваться. Но, конечно, эта помощь не может быть оказана даром, наградой для культуртрегеров должно быть вечное первенствующее значение в этой стране. Чтобы создать себе такое положение и упрочить его за собой, они должны завоевать такую страну, но не оружием, не кровью, а совершенно тем путем, о котором сейчас только сказано здесь, – мирным путем. Я уверен, вы догадываетесь, что такой страной для Германии является необъятная, все ширящаяся в своих пределах Московия. Завоевать ее оружием нельзя. Недавно еще Польша и Швеция сделали эту попытку, и русские легко отбились от натиска внешних врагов. Москва после тяжелого разорения оправилась быстро и стала еще могущественнее, чем до своего мимолетного безвременья. Стало быть, завоевание может быть, говорю я, только мирное. Но как сделать это?

– Да, да, – закричали несколько слушателей, – как?

– Не воевать же Кукую с Москвой!

– Мы бессильны... Что мы можем поделать?

– О, чего не добьется энергичный человек! – воскликнул с порывом Гордон, приподнимаясь на своем месте. – Для него нет решительно ничего невозможного... «Я хочу, я могу!» – вот девиз европейца! Московское государство культурно, по крайней мере в своих средних и высших слоях; полагаю, что никто не будет отрицать это; но его культура совсем иная, чем европейская культура. Восток Европы и запад Азии сеял в этой стране семена культуры, так нужно дальнейшее ее развитие направить в такую сторону, чтобы она пошла тем же путем, как и европейская культура. Иначе Москва скоро очутится впереди всех. В самобытности культуры, в оригинальности прогресса – ее сила, и эту силу нужно ослабить, сломить во что бы то ни стало. Направленная вдогонку Европы, Россия никогда не сравняется с нею, всегда будет отставать, а пока она будет отставать, колонизаторы и их потомки всегда будут во главе ее, то есть они будут в Московском государстве господами, а аборигены страны – их рабами... Эти последние будут работать, а первые – будут управлять ими...

Слова Гордона произвели сильнейшее впечатление на слушателей.

– Он открывает нам глаза на наше великое будущее! – воскликнул пастор.

– Тсс... Слушайте, слушайте, господин Гордон говорит опять!

Отдохнув, оратор продолжал:

– И вот, говорю я, настоящий момент – самый удобный, для того чтобы начать великое мирное завоевание... И честь начать его выпадает на нашу долю, мы – авангард великой европейской армии, мы – пионеры в открываемой для новой нашей культуры стране.

Гордон смолк.

Раздались возгласы одобрения. После этого Гордон хлебнул пива, затянулся трубкой и продолжал уже совсем пророчески-вдохновенным тоном.

– Теперь смотрите, что творится вокруг нас. Царевна Софья и князь Василий Голицын не склонны сходить с пути своих предков. Они не допустят ломки, потому что не желают ее. Они достаточно разумны, чтобы понять, что русские никогда не станут европейцами, что от России останется только одно географическое название, если она сойдет со своего прежнего пути. Но против них выступает царь Петр. Он молод, но его сердце полно ненависти ко всему прежнему. Как и вся молодежь, он жаждет новизны. Прежние формы давят его, его детство несчастно, юность не красна. Ошибка правительницы в том, что она слишком в тисках держала своего меньшего брата. Слишком много крови и трупов он видел в свою недолгую жизнь. В его глазах, в его воззрении с политикой его предков олицетворялось одно дикое, кровавое неистовство.

И молодой царь способен сломить отцовскую старину, если ему помогут в этом. Само собой понятно, все те, кто будет с ним в этом предприятии, станут первыми для него людьми. Отчего же не стать ими нам? Зачем упускать то, что само дается нам в руки? Молодой царь Петр запросто бывает у нас в слободе, многие из нас имеют честь быть его друзьями, некоторые же – учителями... Окружим же молодого царя своею ласкою, своею заботою, в опасную минуту встанем с оружием на его сторону; когда же он начнет переменять путь развития своего народа, поможем ему в этом, всеми силами поможем... Наградой от него мы забыты не будем. Но этого мало: мы сохраним почетные места, а стало быть, и господство над Россией для тех, кто будет следовать за нами. Россия – страна азиатская, страна рабов; неужели же европейцам не быть в ней господами? – Гордон в изнеможении откинулся на спинку кресла и слабым голосом проговорил: – Вот, господа, что я был намерен сказать вам. Решайте теперь сами, чью сторону мы должны принять в предстоящих великих событиях. С минуту все молчали.

– Царя Петра, Петра! – пылко воскликнул Франц Лефорт, вскакивая со своего места. – Долой правительницу, к черту в ад женщину!..

Он не успел еще закончить, как кругом все задвигались, зашумели, заговорили.

– Петра, царя Петра! Долой правительницу! – только и слышалось в течение нескольких мгновений.

Гордон сделал рукой повелительный жест и, когда шум и крики смолкли, спросил:

– Это, господа, ваше решение?

– Единогласное! – последовал общий ответ.

– Смотрите же, я не насиловал вашей совести, ваших убеждений, вы были вполне свободны в своем решении.

– Да, да... Вполне!

– Кому вы поручаете вести все это дело? Помните, что вы должны будете беспрекословно повиноваться своему избраннику.

– Вам, вам, Гордон! Вы опытни в ратном деле, – раздались опять крики, – вы знаете всех бояр, вас знают в московских войсках, вы лучше всех осведомлены, что делается во дворцах... Гордон, Гордон...

– Благодарю вас за доверие и принимаю ваше поручение, господа, – поклонился Гордон собравшимся. – Можете верить, что я приложу все силы, чтобы выполнить ваш план во всем его объеме, но вы все должны помогать мне. Главное, молодой царь... Пусть он станет своим между нами... Принесите общему святому делу тяжелые жертвы, отрешитесь, если будет нужно, от самолюбия. Узы дружбы и благодарности спаяйте пламенем любви, и тогда наша победа будет несомненна.

– Не бойтесь за нас, Гордон, – подошел к нему Лефорт, – вы указали нам путь, и мы не сойдем с него.

– Верю, – пожал протянутую им руку старый шотландец, – верю всем! Господа, великий долг должен быть исполнен до конца, – говоря так, он отер слезы, наворачившиеся на его глаза, и закончил: – Этого ждет от вас Европа. Со всех сторон к нему протянулись для прощального пожатия руки. Участники собрания быстро расходились; последним подошел к Гордону пастор.

– Я понял вас, – проговорил он, и его глаза так и загорелись, – вы выступаете на свершение великого подвига, и на этом пути я до своего конца пойду вместе с вами.

– И мы победим! – воскликнул Гордон.

– И ради этого подвига, – не слушая его, продолжал пастор, – я принесу величайшую в моем положении жертву: я совершу грех, который лишит мою душу вечного спасения...

– О чем вы говорите, преподобный отец? – встревожился Гордон, подумавший, что этот фанатически настроенный старик таит мысль о каком-нибудь политическом убийстве. – Скажите подробнее... Прошу вас...

– Да, скажу! Вы говорили о пламени любви, которое должно спаять узы дружбы и благодарности?

– Говорил, что же?

– Я понял, о каком пламени любви вы сказали... Греховное пламя! Молодой царь часто бывает у меня, я просвещаю его ум разными науками, которыми умудрил меня Небесный Отец...

– Да, знаю... вы легко можете повлиять на царя....

– Он заходит ко мне, а у меня живет сиротка Елена Фадемрехт...

И, не сказав Гордону более ни одного слова, пастор, что-то бормоча, пошел к выходу в сени.

– Да, – усмехнулся вслед ему шотландец, – фрейлейн Лена очень недурна. Из этого, значит, может быть толк... Посмотрим!..

VII. В пасторском доме

Небольшой, уютный домик пастора на церковной площади весь был увит плющом, так что его лицевой фасад издали казался зеленой стеной. Окна в нем были створчатые, а не подъемные, ставни также распахивались на две половинки. Когда темнело, эти ставни закрывались, и комнаты внутри освещались, но не русскими светцами, а особенного устройства масляными лампами, при умелой заправке дававшими порядочный свет. На площадь выходили только парадные комнаты жилища пастора, его же рабочий кабинет выходил окнами на двор, в красиво разбитый сад, в котором любил проводить часы своего отдыха старый служитель церкви.

Кабинет пастора был обставлен, как все вообще кабинеты ученых людей того времени. Посредине стоял просторный стол с чернильницей, на которой лежали гусиные перья и небольшой ножичек. В простенке помещался другой небольшой столик. В углу стоял невысокий аналой с лежавшим на нем Евангелием. Другой угол был задернут занавеской так, что за ней образовывалась довольно большая пустота. У одной стены стоял большой шкаф с книгами, у другой – такой же большой шкаф с различными склянками, банками, колбами, мензурками, ступками и всевозможными медикаментами. Все было просто, чисто и опрятно.

Был конец июля 1689 года; осень уже чувствовалась и в рано наступавшей темноте, и в прохладе вечеров, но это была отрадная после дневного зноя прохлада. Надворные окна были открыты, кое-где слышались тихий говор, смех, где-то пела скрипка. Кукуй-слобода затихала рано, но засыпала в сравнении с Москвой поздно.

В эту-то темную ночь и пробирались, минуя заставы и рогатки в Кукуй-слободе, стрельческие сорванцы Кочет и Телепень. Оба они были порядочно навеселе, и дело, за которое они взялись, казалось им совсем пустяшным, тем более что они сразу же натолкнулись на следы молодых Карениных. У Телепня на Кукуе было немало не только знакомцев, но и приятелей. Оказалось, что Михаила и Павла Родионовичей Карениных действительно частенько видели в слободе и знали, куда и к кому они ходили. Все было так, как рассказывал стрельцам Анкудин Потапыч. Сыновья боярина Каренина бывали у почтенной, уважаемой всеми в слободе дамы, Юлии Шарлотты фон Фогель, одиноко, но вполне независимо жившей в наемном домике с двумя подростками-детьми. Боярские сыновья, по рассказам, относились к Юлии Фогель, как любящие дети к матери, и она в свою очередь была матерински добра с обоими юношами.

– Ишь ты, выходит, что не наврал нам старик, – глубокомысленно произнес Кочет, – правду сказал....

– С чего ему врать-то! – согласился Телепень. – Значит, завтра доложим все как следует, и чтобы сейчас рубли на бочку...

– погоди ты с рублями! – приостановил его более рассудительный товарищ. – Дай дом хоть найти.

– А то не найти, что ли? – захвастался Телепень. – Я тот дом знаю, видал... Вот только темно, да земля с чего-то, прах ее побери, под ногами пляшет! – И, как бы желая доказать справедливость своих слов, Телепень так качнулся, что едва не свалил с ног своего друга.

– Вот в том-то и все дело, что земля заплясала, – чуть слышно засмеялся более трезвый Кочет, – а еще чужой дом в немчинской слободе по приметам искать собираешься.

– А что ж, не найду, что ли?

– Может, и найдешь, да он-то у тебя из-под носа убежит... Что тогда, не догонишь ведь?

Телепень подумал было сперва, что ему нужно разобидеться на насмешку приятеля, но потом решил, что, на ночь глядя, ссориться не стоит, и совершенно неожиданно брякнул:

– А я спать лягу!

– Это как же так спать? – опешил Кочет. – Где?

– А вот в канаву лягу... Дождя давно не было, сухо... До утра просплюсь и найду тогда твой проклятуший дом... Уж об утро он у меня не убежит... Я тогда поймаю его, не выпущу...

Кочет не на шутку растерялся.

– А я-то как же? – спросил он.

– А ты уж как знаешь... Пооди да погуляй маленько до утречка. А то знаешь что, братейник? Где это мы? А, около кирки ихней... попов дом, стало быть, близко... Да, так и есть... около него стоим... Хочешь, к ихнему попу в сад заберемся? Там у него сл-а-авная беседочка есть... в ней и завалимся... Важно до утра поспим... Хочешь, что ли, братейник?

Совсем не улыбалось Кочету болтаться до утра, да еще без силача Телепня, по улицам незнакомого ему поселения. В Кукуй-слободе было тихо, но мало ли на кого ночью можно было нарваться? Немцы же и со стрельцами не особенно церемонились, и немецкие кулаки дубасили так же больно, как и русские. Предложение друга даже понравилось стрельцу. Ведь что ж в самом деле? До утра в сад из дома никто не выйдет, а как забрезжит рассвет, и убраться можно.

– А ты ладно придумал, – проговорил он, – даром что Телепень.

– Вот тебе и Телепень!.. Открыта калиточка, открыта! Шагай, родимый! Да тише ты, неумытая твоя рожа!

Стрельцы прошмыгнули в калитку. На них так и пахнуло ароматом полного разнообразных цветов сада. Кочет приостановился на мгновение и огляделся вокруг. Было тихо, ни души кругом не было; одно из окон в сад было распахнуто. Это было окно пасторского кабинета.

– Стой, – прошептал Кочет, – видишь!..

На светлой полосе, выбивавшейся из окон, были видны две тени; одна была неподвижна, другая же двигалась из стороны в сторону. В этот вечер пастора не было дома, а в его отсутствие к нему пожаловал гость, правда, не редкий, но всегда являвшийся в вечернюю пору.

VIII. Гость кукуевской слободы

Это был юный царь московский Петр Алексеевич.

Еще пригож собою был он в ту пору своей жизни. Ему шел в начале всего только восемнадцатый годок. Бела была, не загубела еще кожа на его лице и не покрылись его руки сплошными мозолями. Мяжки были его черные волосы на голове, и нежный первый шелковистый пушок покрывал подбородок и губу Петра. Правда, крупны были черты его лица, мясisty – широкий нос и толстые губы, непомерно высок и выпукл лоб, но все его лицо было в полном соответствии с крупной не по летам фигурой. Огневой энергией сверкали его большие навыкате глаза; все движения были порывисты, как будто этот юный богатырь постоянно стремился куда-то вперед. На нем был синий простой кафтан, а под ним – шитая рубаха, подпоясанная узорчатым поясом. Не стеснявшая движения одежда выдавала высокую грудь, а это и любо было живчику-юноше, порывистому даже и за тем серьезным делом, за каким он явился в такое позднее время в пасторский дом.

За отсутствием самого пастора, потайно прибывшего царя встретила его молоденькая воспитанница Елена Фадемрехт.

Это была хорошенькая девушка, веселая, бойкая, словоохотливая. Она была сирота, и пастор приютил ее, когда она была совсем маленькою, приютил и воспитал как родную дочь. Он был привязан к ней по-отцовски, души в ней не чаял, берег ее, холил и ее-то он наметил той жертвой, о которой говорил на собрании Джемсу Гордону.

Опытен был в жизни старый пастор, знал он человеческую душу... Знал он, что велика власть женщины над человеком. Только одного не принимал он в соображение – что, пока птичка не поймана, она порхает, где ей любо.

Фрейлейн Елена мило встретила позднего гостя. Никакого особенного почтения, а тем более внешнего подобострастия перед ним она никогда не выказывала. Не царь московский был для нее Петр Алексеевич, а просто милый юноша, которого ее благодетель наставлял в разных премудростях. И юному царю очень нравилось такое обращение. Притворное низкопоклонство, лесть, угодничество, за которыми почти всегда скрывались неприязнь и ненависть, давно опротивели ему; он искал простоты, отзывчивости, душевной теплоты; он был еще достаточно молод, чтобы любить правду, и искал ее. Среди иностранцев Кукуй-слободы Петр находил некоторое подобие ее. Люди не ломались перед ним, не гнули дугой спины, а говорили, что думали или что было нужно, простыми, ясными словами. И в Петре эти люди видели такого же человека, как и они сами, были снисходительны к его слабостям и недостаткам, но и не стеснялись открыто говорить про них. Все это было контрастом по сравнению с тем, что было вокруг Петра в Москве, и это привлекало его к себе: ведь контрасты действуют на впечатлительные души всегда сильно, резко, захватывающе.

Нравилась ли молодому московскому царю хорошенькая воспитанница пастора?

Кто знает сердце человека? Трудно допустить, чтобы хорошенькое личико, румяные щечки, веселые голубые глаза, искренне-веселый смех молодой девушки не производили впечатления на венценосную душу; но в Кукуй-слободу, в свои частые поездки туда, Петр Алексеевич как будто позабывал, что он – царь и «все может». Он был почтительно-деликатен со всеми женщинами, с какими ему приходилось сталкиваться, даже застенчив в ту пору своей жизни, а Елена Фадемрехт нравилась ему, как веселое молодое существо, с которым ему иногда бывало не скучно.

Петр Алексеевич был уже женат в то время. Любившая его мать по-своему постаралась охранить его от последствий увлечений молодости и женила, как только он перешел за грань отрочества. Конечно, в этом браке любви не было, но естественные чувства были удовлетворены, и в молодой душе еще не кипели те бури страсти, которых было так много в последую-

щей жизни этого человека. Может быть, поэтому Елена Фадемрехт и не притягивала к себе внимания молодого царя.

Но молодая девушка чисто женским чутьем понимала, что рано или поздно роковой момент должен был наступить. Близость молодого человека и молодой девушки редко проходит бесследно – так уже создана человеческая природа. Огонь вспыхивает внезапно, волны желания захлестывают человека с быстротой, которой он противиться не может, и ни царь, ни смерд не в силах противиться нахлынувшему вдруг чувствам.

Были и еще обстоятельства, из-за которых Елена стала побаиваться молодого гостя и царя.

IX. Боязливая голубка

С некоторого времени воспитатель молодой девушки стал делать намеки, невольно заставлявшие ее краснеть. Она не совсем понимала их, но инстинкт подсказывал ей, что в этих намеках таится для нее какая-то опасность. Пастор чего-то желал от нее, ждал от нее какой-то услуги, какой-то великой жертвы ради блага множества обездоленных, лишенных милой родины людей, близких ей и по духу, и по крови, и по религии. Пастор то перечислял ей могучих, славных женщин, не останавливавшихся ни перед каким самопожертвованием, когда дело шло о счастье великого родного народа; он красочно, увлекательно, живо рассказывал ей историю библейских Юдифи и Олоферна, восхищался подвигом еврейки и сразу же переходил к царю Петру, расхваливал его, говорил, что, если бы около него была своего рода Юдифь, тысячи и сотни тысяч благословляли бы ее.

Он говорил о той роли, которую должны были сыграть в истории России иностранные выходцы, и вдруг прямо высказывал, что таких людей, как молодой царь Петр, крепче всего можно сковать цепями женской любви, – любящий человек-де сделает все, чего ни захочет любимая им женщина.

Елена слушала все эти красноречивые слова, краснела, но старалась не вникать в их скрытый смысл, и все только потому, что ее юное сердце было уже в ту пору несвободно.

Этого последнего и не принял в расчет старый пастор Кукуевской слободы.

Чувствуя опасность, молодая девушка, и тут руководимая чисто женским инстинктом, начала готовиться к отпору. Она ни в чем не переменила своего обращения с царственным гостем, стала даже веселее прежнего, была еще более непринужденна в обращении с ним, и наблюдавший за всем этим старый пастор радовался, воображая, что его план удастся. Он стал уходить или запаздывать с возвращением, когда, по его расчетам, его гость-венценосец должен был быть у него.

Так было и в этот темный июльский вечер.

– Здравствуйтесь, царь, здравствуйтесь! – приветствовала Елена прибывшего Петра. – Давно не были у нас в слободе... Словно и позабыли совсем...

– Нет, фрейлейн Лена, нет, – ласково ответил гость, пожимая маленькие ручки девушки, – я никогда не забываю своих друзей.

Они говорили по-немецки; Петр медленно произносил слова, старательно подыскивая их в своей памяти, прежде чем сказать, но, в общем, его речь была правильна, хотя и несколько книжна. Он, разговаривая с Еленой, даже старался сдерживать свой и в то время уже грубый голос, и только его глаза так и взблескивали яркими огоньками.

– Это хорошо, что вы не забываете своих друзей, – заговорила девушка, – а врагов как? Тоже не забываете?

Лицо молодого царя потемнело, изогнутые дугой брови надвинулись на глаза.

– Смотря кого! – глухо ответил он. – Иных и на своем смертном одре не забуду...

– Какой вы! Ведь это не по-христиански, – отняла у него свои руки девушка. – Но я не хочу верить, чтобы вы были злой... Нет, нет! Вы – добрый. Господь заповедал любить своих врагов...

– То был Господь, – по-прежнему глухо проговорил Петр, – а мы – простые люди... В мудрых же изречениях, которые я вычитал в книгах вашего благодетеля, прямо сказано, что человек человеку – волк... Эх, фрейлейн Лена, если бы могли только заглянуть в душу мне и увидеть, что там делается, испугались бы вы!..

– Разве? – отступила немного назад Елена.

Петр в это время присел к столу и так ударил по нему кулаком, что все вокруг ходуном заходило.

– Чего «разве»? – запальчиво и даже грубо выкрикнул он. – Кипит все там, словно печь разоженная, – слегка хлопнул он себя по левой стороне высокой груди. – Да! А как же этому не быть? Разве вокруг меня друзья? Враги лютые! Все... Вот сестра Софья... От одного отца мы с ней, а нет большего врага для меня, чем она! Сидит она теперь, поди, со своим Васькой Голицыным и придумывает, как бы меня с белого света извести...

– Полноте, царь, полноте! – остановила его девушка. – Вы сегодня мрачно настроены... И еще такой разговор затеяли... Бросим его!.. Знаете, я очень рада, что моего благодетеля дома нет...

– И я тоже, – сознался Петр. Сердце Елены так и захолонуло.

«Что он задумал? – промелькнула у нее тревожная мысль. – К чему он это сказал?»

Она была одна во всем доме с этим молодым своевольником, о выходках которого давно уже ходили недобрые слухи.

– Я по крайней мере прочту еще раз анатомию, – dokonчил Петр, и Елена сразу почувствовала, как отлегло у нее от сердца, – а то вожусь с этими потешными и книги совсем забросил.

– И прекрасно! – воскликнула Елена, обрадованная и в то же время с чисто женской непоследовательностью задетая за живое явным равнодушием к ней молодого царя. – Усаживайтесь за свои книги, и если только вы будете прилежны, то я обещаю вам сюрприз.

– Какой? – встрепенулся Петр.

– Будьте терпеливы и вы увидите сами, какой мой сюрприз! – весело засмеялась девушка. – Садитесь же за книги, огонь горит ярко, и ваши глаза передадут вам всю мудрость, какая в них есть. Учитесь, царь! Из вас, если бы вы не были царем, вышел бы прекрасный студент.

И, прежде чем Петр успел что-либо сказать, Елена с веселым смехом выбежала из пасторского кабинета.

Х. За премудростью книжной

Оставшись один, Петр не сразу принялся за книги. Видимо, взволнованный неожиданным разговором о друзьях и врагах, он несколько раз прошелся по комнате.

– Милая, резвая хохотушка, – проговорил он вслух сам с собой, – право, приятно словом перемолвиться с такой – не то что наши московские тетери и кувалды... «Лапушка» да «разлапушка», – только одно и знают, а дальше этого никуда... Целуй ее, ласкай, дрожи от страсти, а спроси что-нибудь – про один пирог с морковью услышишь... Матушка, матушка! Зачем ты меня с Авдотьей сковала?! Жизнь моя по-другому потекла бы, если бы иная около меня была! Эх! Да что тут! Порву я все путы, вырвусь на вольную волюшку... Не удержать им орла на привязи... И уж загуляю же тогда, так загуляю, что сам Грозный царь в своей гробнице сухими костями от удивления застучит... Только бы моих потешных поднять, никакие Софьины стрельцы против них не выдержат. Покажу тогда всему миру, кто я.

И прекрасен, и страшен был царь в эти мгновения. Горели его глаза, ноздри так и раздувались, вздрагивали его искривленные губы, высоко вздымалась богатырская грудь.

Наконец, поборов себя могучим усилием воли, Петр взялся за книгу. Однако, прежде чем сесть к столу, он подошел к окну; тут до его чуткого слуха донесся отдаленный говор и ему показалось, что голоса все приближаются и что наконец скрипнула даже приворотная калитка.

Он выглянул во двор. Было темно, веяло прохладой, из пасторского сада лился аромат цветов. В саду стояла ночная тишина; слышался только шелест листьев под легкими шквалами налетавшего ветерка.

– Причудилось, надо быть, мне, – промолвил царь, – никого там нет. Да и кому быть? Сестра Софья сюда своих соглядатаев послать не осмелится... Ох, сестра, сестра! – Он даже опять нахмурился, вспомнив про правительницу, но, опять подавив в себе закипавшее чувство, махнул рукой и подошел к завешенному углу.

Занавеска была отдернута, и за ней оказался прекрасно собранный человеческий костяк, установленный во весь рост на широкой подножке. Глазные и носовые впадины зияли на его белой кости. Беззубый рот был раздвинут, и казалось, что эта страшная мертвая голова улыбается тому, кто смотрит на нее. Лишенные мускулов руки были протянуты вперед, но в них были приспособления, посредством которых каждой руке или ноге можно было придать любое положение.

Петр взял костяк, перенес его к столу, сел сам и развернул одну из книг. Перелистав несколько страниц и найдя нужное ему место, он поднял и укрепил подставкой одну из рук костяка так, что она приняла горизонтальное положение, то же положение он придал и ноге скелета. Покончив с этими приготовлениями, он стал повторять урок, лишь изредка заглядывая в учебник:

– Сие есть локтевая кость, сие – лучевая, сие – голень, вот малая берцовая, вот копчиковый отросток...

Изучаемый предмет, видимо, сильно интересовал Петра. Простудировав его, он в прежнем положении поставил костяк перед глазами, а сам закурил трубку с длинным чубуком. Напряженно работавший мозг требовал подбодрения. Петр курил сильно, и скоро клубы табачного дыма носились над его головой, окутывая и его, и стоявший перед ним костяк. Но венценосный ученик не обращал на это внимания. По временам он отрывался от книги, склонился к костяку, трогал его, повертывал, бормоча в то же время наименования тех или других его частей.

Как раз около того времени, когда Петр взялся за изучение скелета, стрельцы Кочет и Телепень промелькнули в калиточку пасторского дома. Телепень подбодрился, держался на ногах порядочно твердо, но его болтливость все-таки не иссякала.

– А что, брат, ведь хорошо я придумал? – хвастливо спросил он у товарища. – А?
– Чего уже лучше! – насмешливо ответил тот. – Вот как хозяева надают в загорбок, совсем чудесно будет.

– Не надают... Мы и сами с усами... Сдачи дадим...

– Тише ты, видишь! – указал Кочет на отворенное окно, из которого выбивался яркий свет. – Ведь не спят еще, проклятушие.

– Да, я и то вижу... А ведь беседка, что я наметил, прямо против окна...

– Думаешь, увидят?

– Вернее верного то, а увидят – прогонят... Ночуй в канаве... Эх ты, жизнь...

– Что же делать?

– А вот что! Переждем тут, под стеной... Не до петухов же не спать будут... Угмонятся, тогда мы в беседку и проберемся.

– Дело! – согласился Кочет. – Переждем!

Они притаились под стеной вблизи открытого окна; шум, вызванный ими, привлек внимание чуткого Петра.

Прошло несколько времени. Стрельцам даже уже надоело стоять и ждать, да и спать им хотелось, так что невтерпеж даже стало.

– У, полуночники! – с сердцем выбранился Кочет. – Ночь уже на дворе, а они все спать не укладываются... А знаешь что, Телепень?

– Что?

– Давай поглядим, кто там такой полуночничает? Может, немчинская девка с хахалем милуется...

– Так мы их спугнем, – подхватил мысль своего друга Телепень, – верно ты говоришь, давай!

Они подкрались, затаивая дыхание, к окну. Первым взобрался на узкую завалинку Кочет, заглянул и кубарем, без звука, скатился вниз. Телепень не понял сразу, что такое случилось с его товарищем. Он даже подумал, что Кочет просто-напросто оборвался, и, подумав, не говоря ни слова, полез к окну.

Волосы дыбом поднялись под шапкой у простоватого парня, холодный пот проступил по всему телу, мурашки так и забегали по спине, когда он заглянул в окно.

– Чур меня, чур! – вырвался из его груди дикий, отчаянный вопль. – Оборотень, антихрист! – кричал он, и в следующее мгновение уже был на земле...

Петр услышал эти дикие крики. Одним прыжком он очутился у окна, но там среди темноты был только слышен тяжелый топот стрелецких ног.

XI. Сюрприз

Первой мыслью Петра было то, что на него замышляется покушение. Ведь он знал, каковы приспешники его сестры-правительницы и на что они способны. Однако его чуткое ухо уловило в донесшемся до него вопле такой испуг, что молодой царь сразу сообразил, что произошло.

– И поделом негодникам! – весело и зычно расхохотался он. – То-то я думаю, их душа в пятки ушла... Эх, людишки, – презрительно закончил он и, позабыв о приключении, снова принялся за прерванную было работу.

Но, должно быть, в этот вечер ему не суждено было заниматься науками; только венценосный ученик хотел углубиться в книги, как у дверей послышались веселый девичий говор и смех. Снова внимание Петра было отвлечено, он приподнял голову и слегка улыбнулся.

– Ишь, – вполголоса проговорил он, – одна стрекоза другую привела... Что же они сюда не идут? Чего там за дверями стрекотать?

Как бы в ответ ему дверь распахнулась, и в кабинет пастора вбежала Елена, таща за руку другую девушку.

– Иди, Анхен, не упрямясь, – смеясь, сказала она, – молодой московский царь – не медведь и тебя не укусит.

Петр поднялся со стула и во все глаза смотрел на гостью, чувствуя, как вдруг загорается все его лицо. Перед ним было такое существо, каким в его молодых грезах рисовалась женщина. Это была не лупоглазая жирная московская «тетеха», нет, перед ним была довольно высокая, полная и в то же время, несмотря на полноту, статная девушка. Тяжелые золотистые косы змеями висели по плечам, голубые глаза смотрели гордо, но в то же время и кротко. Щеки так и пылали ярким румянцем. Девушка была, видимо, смущена этой неожиданной для нее встречей, но на ее лице не отражалось ни испуга, ни тревоги.

– Ваше царское величество, – с церемонным реверансом говорила Елена, – прошу вашего позволения представить вам мою подругу Анхен Монс...

Это имя было знакомо Петру. Он уже не раз слышал о Иоганне Монсе, богатом виноторговце, и теперь сообразил, что эта девушка – его дочь.

– Я рад знакомству с вами, фрейлейн, – проговорил он, протягивая девушке руку, – слышал о вашем отце, а вот теперь вижу вас...

– Что ты так на него смотришь, Анхен, – оставляя в стороне всякую церемонность, воскликнула Елена, – ты, может быть, удивляешься, что он так прост? Вероятно, тебе наговорили, что эти московские цари – какие-то божки... сидят на своих престолах, а им все кланяются... Так нет, видишь, вон он какой... Он у нас бывает запросто и даже не любит, когда его здесь называют царем... Ну, знакомьтесь же, разговаривайте... Я пойду по хозяйству! – И Елена убежала, оставив молодых людей одних.

Как и всегда на первых порах, чувствовалась неловкость. Очевидно, Петр произвел сильное впечатление на молодую девушку, и вместе с тем и она видела, что он тоже смотрит на нее с заметным волнением. Но разговор все-таки не клеился. Молодые люди задавали друг другу незначительные вопросы, отвечали на них, но смущение все-таки владело ими. Разговор то и дело прерывался.

Так прошло несколько времени.

Вдруг в кабинет опять вбежала Елена Фадемрехт. На этот раз она была взволнована и даже испугана чем-то.

– Государь, – заговорила она, – тут сейчас явился какой-то молодец, который желает видеть вас.

– Кто такой? – нахмурившись, спросил Петр.

– Не знаю, но он очень настойчив и говорит, что если не будет допущен к вам, то могут произойти для вас большие неприятности...

– Э-эх! – досадливо махнул рукой Петр. – Так вот всегда... Прознали, значит, мелкие шавки мой след... Вы, фрейлейн, ничего не слышали?

– Ничего! А что?

– Кричал тут под окнами кто-то, – произнес царь.

– Мы были далеко во внутренних покоях... Как будто я слышала какой-то крик... Не правда ли, Анхен?

– Да, – ответила Монс, – и мне показалось, что кто-то кричит... Но ведь это так часто здесь... Какие-нибудь пьяные стрелцы из Москвы.

Появление нового лица прервало ее слова.

Вошедший был еще совсем юноша, вернее, подросток, безбородый, с только что начинавшими пробиваться усами. Одет он был не по-простому; его богатый кафтан, расшитые сапоги, опушной колпак, который он держал в руках, показывали, что он принадлежит к знатному боярскому роду. В пасторский кабинет он скорее вбежал, чем вошел, но, увидев царя, выпрямившегося во весь свой рост и смотревшего на него сверкающими от гнева глазами, смутился и испугался.

– Великий государь, – дрожащим голосом воскликнул он, преодолевая свой испуг, – помилуй... Не вели казнить, дозволю слово вымолвить...

– Кто ты? – спросил Петр, и в его голосе зазвучала гневная нота. Он ждал ответа, а его правая рука уже нащупала под кафтаном рукоять запояного ножа. – Ну, говори, кто?

Молодой царь, видимо, был сильно разгневан. Но его гнев был главным образом вызван тем, что появление этого юноши прервало его беседу с Анной Монс. Почему-то Петр Алексеевич сразу же почувствовал себя совсем хорошо с этой девушкой, и хотя они не сказали ни одного сколько-нибудь значащего слова, но Петру казалось, что они уже давным-давно знакомы и вот-вот их беседа должна была принять дружеский, душевный характер.

– Ну, так что же? – опять спросил он. – Что ты молчишь?

Юноша опустил на одно колено и, поникнув по-прежнему головой, произнес дрожащим голосом:

– Твоего боярина Каренина сын я, Павлом звать меня.

– Каренина? – нахмурил лоб Петр. – Что же я не слышал такого? Верно, к сестрице моей Софьюшке забегает, а то бы уж я слышал. Ну, так чего же тебе надобно, с чем явился?

– Позволь, великий государь, говорить с тобой, – поднял голову Павел, – негоже, чтобы чужие уши слышали, что я говорить тебе буду. Прикажи им уйти, – указал он в сторону девушек, с любопытством смотревших на них.

ХII. Ночной переполох

Петр тоже взглянул на них, и они поняли этот взгляд, как безмолвное приказание.

– И в самом деле, Лена, выйдем, – произнесла Анна Монс, – видно, желает добрый молодец что-либо тайное своему царю рассказать. Прощайте, государь, – почтительно, но с достоинством поклонилась она молодому царю. – Будете еще в нашей слободе, не забудьте и нас своей милостью.

Она пошла к дверям.

Петр быстро перегнал ее, открыл перед ней дверь и, когда девушки проходили мимо него, проводил их низким поклоном.

Он был недоволен настойчивостью юноши, но вместе с тем ясно понимал, что тому надо сказать ему что-то особенное.

– Ну, говори, – опустил он на табурет около скелета, – что у тебя там такое? Какие еще тайны? Да встань! Не люблю я этих ваших преклонений.

Павел быстро поднялся и, подступив к Петру, торопливо заговорил:

– Не с добрыми вестями пришел я к тебе, великий государь!.. Задумали по твою жизнь людишки скверные, и, прознав, что ты сюда, в Кукуй-слободу, наезжаешь, решили промыслить.

Петр вздрогнул, и его лицо потемнело еще более.

– Кто же такие? – выкрикнул он. – Стрельцы, небось?

– Они, государь. Ведь ведомо тебе, что всякое зло на Руси теперь от них идет. Поставили они засаду, чтобы захватить тебя, как только ты выйдешь за Кукуй-слободу на проезжую дорогу. Поберегись, государь! Умоляю тебя, поверь моим словам, не ездь сегодня отсюда...

– Ну, этому не бывать! – весь так и вспыхнул молодым, юношеским задором Петр. – Чтобы я, царь московский, да злодеев испугался? Или забыл ты, что своего помазанника и Бог хранит.

– Так, государь, но ты будешь один, а их много.

– Пусть. Но ты-то, ты-то откуда знаешь это?

Павел заметно смутился, а затем взволнованно ответил:

– Делай что хочешь, государь!.. Казни или милуй – твое царское дело, но скрывать от тебя не буду. Есть у меня брат старший, Михаилом зовут; так вот он-то на тебя и наводит.

– Твой старший брат? – с удивлением посмотрел на Павла молодой царь. – Так что же я ему сделал такого? За что он на меня таким злом пышет? Ведь я ни вас, ни вашего отца никогда и в глаза не видал и даже никогда и не слыхивал о вас... Или и твой брат руку моей сестры Софьюшки держит? Ну, говори же правду до конца, ежели начал.

Царь видел, что смущение Павла так и разрасталось; лицо юноши было красно, он стоял перед Петром, потупив взор.

– Будь по-твоему, государь великий, – наконец сказал Каренин, – скажу тебе все, не потаив, а ты потом не гневайся. Частенько мы тут, на Кукуй-слободу, с братом бываем. Женщина тут живет одна, немчинка, а была она долгое время нам обоим вместо матери. Привыкли мы к ней, как к родной, и вот, как батюшка на Москве поселился, мы первым своим делом решили разыскать ее; с тем мы и стали бывать здесь, в Немецкой слободе. Да часто мы бывали, и приглянись брату, на его беду, здешняя девица одна. Просто сохнуть по ней он стал, а тут вдруг показалось ему, что ты, государь, на эту девушку взглянул ласково... Вот и лишился разума мой большак.

– Кто эта девица? – в упор, сверкающим взором посмотрел Петр на своего молодого собеседника. В нем так и закипело ревнивое чувство. Ему показалось, что сейчас он услышит имя Анны, и гнев так и заклокотал в нем. Этот неведомый ему доселе боярчонок вдруг стал ненавистен ему, как совершенно неожиданный соперник в сердечном деле. Тут сказался

необузданный нрав молодого царя. Он даже не подумал, что у него нет никаких прав на Анну, и одна только мысль о том, что кто-то другой осмелился думать о ней, приводила его в ярость. – Говори же, проклятый, – надвинулся он на Павла, – говори, что же эта девица ответила твоему брату?

– В том-то и дело, государь, – произнес молодой Каренин, – что и она полюбила его, а тут, говорю, ты появился между ними...

– Полюбила... а-а!.. – неистово вскрикнул Петр, хватая молодого Каренина за плечи. – Говори же, говори, кто она такая? Имя ее!..

– Здешняя, пасторова, фрейлейн Лена, – не пытаясь даже отбиваться, пролепетал перепуганный юноша. – Помилуй, государь! Ведь в своем сердце никто не волен.

Но Петр уже и сам отпустил его.

– Лена, Лена Фадемрехт, – повторял он в порыве безумной радости, – ха-ха!.. Эх вы, телята молодые!.. Ну, да все-таки же, значит, скверное дело задумал твой брат, из-за чего бы то ни было на царя своего покуситься. Ну да ладно, посмотрим, что там будет, и по справедливости это дело рассудим.

– Чу, государь, – весь так и насторожился Павел. – Ты разве ничего не слышишь?

Петр прислушался.

– Шумят там, – равнодушно сказал он, – видно, пьяные дерутся.

– Нет, нет! – испуганно заговорил Павел. – Как бы не ворвались в слободу стрельцы, которые тебя поджидали... озорной народ они, сам поди знаешь. Ну, так и есть, ишь галдят... Государь, послушай ты меня, пойдем со мной! Слышишь? Ведь они сюда идут. Пойдем, пока еще можно...

– Мне, бежать? – выпрямился во весь свой огромный рост Петр. – Что же, разве нет при мне сабли острой, ножа за поясом?.. Пусть идут!.. Я смогу отбиться.

– Ой, государь, в таком деле кто за что поручиться может? Ведь стрельцы все пьяны... Ну, молю тебя, государь, последуй за мной! Я всю слободу знаю и так укрою тебя, что никто не найдет...

Петр заколебался. Он понимал, что в словах Павла есть много правды, но все-таки не решился последовать за ним.

– Государь, – вбежала перепуганная Елена, – ваши московские стрельцы возмутились, они идут сюда... спасайтесь, государь!..

– И вы, фрейлейн Лена, говорите то же, что и он. Вы боитесь?

– Не за себя, государь, не за себя. Вы знаете, как они буйны. Нет возможности ни за что поручиться... вспомните ваше детство.

Лицо Петра исказилось болезненной судорогой. Елена напомнила ему одно из ужаснейших пережитых им мгновений: страшный стрелецкий бунт 1682 года. Петру живо представился труп его дяди Нарышкина, сброшенный с балкона дворца на стрелецкие копья. Вспомнил он, как увела его перепуганная мать в Грановитую палату, и как ворвались туда опьяненные своим успехом бунтовщики. Ведь тогда, ребенком, он видел направленные на него копья, и памятен ему был испытанный тогда страх смерти.

Петр знал, на что способны озверевшие стрельцы, подстрекаемые и руководимые такими опытными смутьянами, как Федька Шакловитый да подьячий Шошин, за которыми стояли руководимые Милославскими царевна-правительница Софья и ее «мил сердечный друг Вася», князь Голицын, Васильев сын.

И вот теперь эти сорвавшиеся с привязи звери были близко.

Шум и галдеж все разрастались. Обитатели Кукуя были застигнуты врасплох. Они никак не ждали, чтобы беспорядки начались так скоро, и мирно покоились сном, когда на тихих слободских улицах вдруг появилась пьяная стрелецкая ватага.

– Изведем оборотня, – слышались неистовые вопли, – младшим царем прикинулся и черную смерть пушает...

– Долой Нарышкиных... Перебьем их всех так, чтобы на семя не осталось...

– На колья их! Милославские нам милы...

– Ищите оборотня, забьем его!

Такие крики, сливаясь в один общий гул голосов, слышались все ближе и ближе.

Петр не знал, на что ему решиться. Он ясно сознавал опасность, и в то же время присутствие молодых девушек связывало его. Он боялся уронить себя в их глазах, иначе говоря, боялся, что Анна Монс подумает про него, что он – трус...

– Государь великий, – кинулся к нему Павел Каренин, – доверься мне, я укрою тебя...

Петр не шевельнулся; только его рука все крепче и крепче сжимала рукоять ножа.

– Государь, – выдвинулась Анна, – безрассудство не есть геройство... Вы слышите, что кричат там? Вы будете убиты, прежде чем подоспеют наши алебардисты... Я хочу, чтобы вы жили... Идемте!..

Она смело схватила молодого царя за руку и потащила за собой. Петр не сопротивлялся; он покорно следовал за Анною, с восхищением глядя на нее; для него в эти моменты она была героиней.

– А я буду прикрывать отступление! – воскликнул по-немецки Павел. – И мы уберезем его.

Он слышал, что Анна говорила с Петром по-немецки, и заговорил на этом же языке и сам.

Елена, когда они вышли, спешно погасила огонь в кабинете, спрятав перед этим скелет. Сердце молодой девушки страшно билось; она прекрасно понимала, какая страшная опасность грозит пасторскому дому в эти мгновения.

Опасность действительно была немалая.

Прав был Павел Каренин, когда, не пощадив брата, выдал его тайну сердечную...

Дерзок был нравом, необуздан в порывах и горд его старший брат Михаил. Этот юноша был весь в отца. Боярин Родион Лукич удержал себе не знал, когда попадал под власть какого-нибудь чувства; так было и с Михаилом. Он полюбил юную Елену Фадемрехт, сердцем почувствовал, что и она не прочь разделить его любовь, и вдруг запылал яркой ненавистью к молодому царю. Для него Петр был не помазанник Божий, не царь московский, а соперник в любви, и он, ничтожная былинка, ни на мгновение не задумался поднять бунт против того, кто по сравнению с ним был исполином.

ХIII. Милославские и нарышкины

Впрочем, такое отношение к царю из рода Нарышкиных было понятным.

С тех пор как давно уже сгнивший византизм поразил своим тлетворным ядом молодое московское государство, всегда в нем была ожесточенная борьба боярских партий за власть.

Хитрая пронира, воспитанница иезуитов, Софья Палеолог¹² внесла жалкие интриги и коварные хитросплетения в дворцовую политику. Когда ее тезка, богатырша-литвинка Софья Витовтовна, дочь славного героя Грюнвальдской битвы, в которой славяне разбили наголову проклятого тевтона, выпив лишний кубок, подралась на свадебном пиру своего сына с богатырем Василием Юрьевичем и восстановила против своего сына Шемяку и князей, то в этом была мощь, но не подлая интрига, из-за этого пошла открытая борьба, в которой и народ принимал участие.

Когда Софья Палеолог добилась казни – первой публичной в России казни! – не угодившего ей Рязполовского, действовала скверная дворцовая интрига. Когда она лишила венца и престола и свела в Млаву первого коронованного царя, юношу Дмитрия Ивановича, – опять-таки действовала адски сплетенная дворцовая интрига. Внук гречанки – гениальный Иоанн IV, – «гнев, венчанный на престоле», в детстве которого боролись за власть Вельские и Глинские, сумел обескровить дворцовую интригу, но не уничтожил ее. Именно ее жертвою стали царь Федор Иоаннович и Борис Годунов, и его несчастный сын Федор, и Дмитрий Самозванец, и Василий Шуйский, и Владислав Польский. А кроме последнего, личности в истории неизвестной, и первого, типичного вырожденца, все это были талантливые правители, и каждый из них возвеличил бы Россию перед всеми соседями, если бы только не работала против них опять-таки дворцовая интрига.

Дворцовой интриге Россия была обязана всем своим Смутным временем. Но даже опасность для государства, бывшего в смутные годы (1606–1613) на краю гибели, изнемогавшего под страшными ударами поляков и шведов, раздираемого в клочки внутренними беспорядками, не образумили, ничему не научили добывавшихся власти ради власти бояр.

Церковь, в лице энергичного Филарета Никитича, вырвала Россию из омута боярских интриг и козней и возвеличила ее, поставив вровень со всеми ее европейскими соседями при Никоне; первые Романовы, цари Михаил и Алексей Тишайший, прекрасно знавшие, каковы окружавшие их бояре и на что они были способны, отвернулись от знати и обратились к народу. Они правили с «землей», созывая земские соборы, и в кратчайшее время обессиленное государство оправилось, окрепло и стало могучим, сколь могучим никогда еще не было в своем прошлом.

Впрочем, Тишайший не особенно церемонился со смутьянами, кто бы они ни были: в его царствование насчитывается до 15 тысяч «повешенных за ребро», и внутренний мир при нем не нарушался. Бывали не раз «гили», то есть стихийные вспышки взбунтовавшейся черни, но большинство их создано было опять-таки своевольничавшими боярами.

Внутренний мир держался и при болезненном наследнике Тишайшего, царе Федоре, а уж он ли не подавал, казалось, поводов к народному возбуждению, если бы только «Московия» того времени и в самом деле была «страной дикарей»? Царь Федор Алексеевич уничтожил

¹² Зоя-София Палеолог – вторая жена царя и великого князя Ивана Васильевича III Собирателя (1440–1505), дочь Фомы, брата последнего царя Византии – Константина, нашедшего после взятия Константинополя турками убежище в Риме. Римский папа Павел II вздумал воздействовать на Россию в смысле обращения ее в католичество, устроив брак Зои с великим князем Иваном Собирателем. В 1472 г. Зоя прибыла в Россию, где приняла имя Софьи. Согласилась она на этот брак в надежде, что московский царь поможет изгнать турок из Византии, но этот замысел не удался: царь Иван III не пошел на это. Зоя-София осталась в России. Она ввела при дворе московском византийскую пышность, привлекла в Москву многих иностранцев, главным образом строителей, но вместе с тем привила к придворной жизни все растленные нравы византийского двора с интригами, коварством, убийствами. Умерла Софья в 1503 г.

местничество, чем разделил боярское средостение и открыл доступ людям снизу – из народа – в ряды высшей знати. Он, следуя примеру отца, привлек в Россию иностранцев, которые при нем сидели смиренно, торговали, строили, ремесленничали, но и не мечтали даже пробраться к «кормилу государства».

Женатый на польке, Федор Алексеевич начал насаждать и прививать западные порядки и обычаи. У него во дворце ходили в «кургузом католическом платье и курили проклятое дьявольское зелье, табаком именуемое». И все эти «новшества» принимались народом: Федор был законный царь; что он творил, то внушалось ему Богом.

Бояре и «звездные палаты» того времени грызлись между собой, интриговали, но не имели в народе опоры для своих интриг.

Почва для этого создавалась после смерти болезненного Федора Алексеевича. Во главе правительства стала сестра этого царя, Софья, энергичная, честолюбивая, но вместе с тем пылкая, страстная женщина.

Как женщина, она никаких прав на власть не имела. Ее сестры и тетки сидели смиренно в своих теремах, «пошаливали» втихомолку, потом отправлялись в святые обители замаливать свои грешки, среди которых были и «подсередочные», и «подпятничные»... О них никто не слышал, ими никто не интересовался. Царевна Софья одна выдвинулась среди этих ничтожных, безликих женщин.

Она привлекла на свою сторону стрельцов – этих «преторианцев» древнейшей Москвы, умела обходить их вожakov. Честолюбцы Хованские погибли, запутавшись в сетях, расставленных им Софьей; другие, очертя голову, шли за ней и возносили ее и ее фаворита Голицына на высоту власти. И должно сказать, что правление Софьи возвеличивало Россию; оно было продолжением царствования трех предшествовавших первых Романовых.

При Софье не было земских соборов, но это не мешало ей править с великою мудростью. Софья, однако, не опиралась на народ; на ее стороне была только ничтожная горсть буйных стрельцов, и, чтобы сохранить власть, ей нужно было не сплочение, а разъединение народа. Смуты – правда, частичные, местные – не прекращались во все семь лет ее правления, и в конце концов, как ни умна была Софья, она все-таки не разглядела правды. Она вообразила, что народ будет за нее.

Первый молодой царь – Иоанн Алексеевич – был совершенно не пригоден для царствования по своему слабоумию, второй – «огонь-дитя», Петр – с детства припадочный, в раннем возрасте стал алкоголиком. Пагубная страсть была искусственно привита ребенку, в возрасте двенадцати-тринадцати лет напивавшемуся до бесчувствия. Но алкоголь не осилил богатырской натуры, да и судьба была родною матерью этому меньшему из детей Алексея Тишайшего. Умственные способности сохранились и изоцрились.

Отшатнувшись от своих, Петр с детства метнулся к иностранцам. В Кукуй-слободе у него было много учителей-друзей; старик Тиммерман, знаменитый Гордон, Лефорт, Вейде, Брюс – все были его друзьями. Юный мозг обогатился знаниями; сами собой выросли «потешные полки» – и Софья просмотрела их. Просмотрели их, этих «ребят потешных», и ее советники, считая их просто-напросто баловством. Вернее всего, и сам Петр смотрел на свое «потешное» войско как на забаву; только Гордон да Лефорт, организаторы этой забавы, ухмылялись, когда при них говорили так.

Петр, как и все богато одаренные, из ряда обыкновенного выходящие натуры, не умел обуздывать ни свои страсти, ни свои желания. В отношении всего, что так или иначе могло пагубно отозваться на его некрепком в ту пору здоровье, приспешники правительства потворствовали ему.

Мать, видя и зная это, стремилась охранить сына от последствий излишества и – вопреки правительнице – женила Петра, не достигшего еще семнадцатилетнего возраста, на молоденькой Евдокии Федоровне Лопухиной.

Красива была юная царица – даже по московским понятиям того времени, не только красива, но прямо-таки красавица: полная, белая, пышная, кровь с молоком, румянец во всю щеку, бровь соболиная, взгляд ласковый, грудь высокая.

Но не по сердцу пришлась она своему юному супругу: скучно ему с ней, «тетехой», было.

Его мозг работал с лихорадочной быстротой, а мозг его подруги жизни безмятежно спал... Супружеские ласки после всего пережитого уже не были заманчивы; юный Петр не нашел в них ничего нового, а говорить ему с его «Дунечкой-разлапушкой» не о чем было. То ли дело бабы да девки на Кукуй-слободе! С теми не скучно! Оттого и мужья с ними хорошо живут, что все у них в свое время: ласкам – ночь, а умному разговору – день... И тянуло юного московского царя к чужим ему людям, нравилась ему свободная жизнь этих людей, и все чаще и чаще наезжал он в Кукуй-слободу, благо не один, а несколько домов у него было, где его принимали запросто, не как царя, а как желанного, милого гостя. И вдруг неладное случилось: озорничавшие стрельцы-вороны вспугнули молодого царя-орла.

XIV. Робкое признание

Когда молодой царь и его юная спутница вышли из пасторского дома, сопровождаемые Павлом Карениным, на церковной площади уже кипела жестокая свалка. До оружия еще не дошло, дрались кулаками, но страсти с каждым мгновением разрастались все больше. Слободская молодежь и ворвавшиеся в слободу стрельцы шли стена на стену. С обеих сторон оглушительно орал.

– Ишь, сволочь подлая! – презрительно усмехнулся Петр. – Одного полка моих потешных достаточно, чтобы разметать всю стрелецкую орду... Вот бы вызвать их сюда...

– Тише, царь! – схватила Петра за руку Анна. – Вы неосторожны...

– Сердце кипит, фрейлейн Анхен...

– Верю, но нужно все-таки быть разумным! Идемте! – увлекала она его в темный переулок.

Там не было никого, и путь оказался совершенно свободным.

– О фрейлейн, – мечтательно воскликнул Петр, – я счастлив, что вы обратили на меня внимание... Чем могу я отплатить за услугу?!

– Услуга небольшая, – весело рассмеялась Анна, – но если вы считаете, что я вам в чем-то помогла, то отплатите мне потом...

– Когда потом?

– Когда будете настоящим царем!

Эти слова были произнесены и весело, и ласково, но подействовали на Петра, как удар кнута.

«Как, – вихрем пронеслось у него в мозгу, – она меня не считает «настоящим» царем?!.. Кто же я тогда?»

Однако он подавил вспыхнувший было гнев и только пробормотал:

– Ни теперь, ни тогда, ни после я не забуду вас.

– Меня? – засмеялась Анна. – Только меня?

– Только вас! – ответил юный царь, и в его голосе задрожала страсть.

– Какой вы! – вспыхивая, вызываясь проговорила Аннушка. – Ну, посмотрим, так ли это и в самом ли деле цари умеют говорить правду.

Но она вдруг оборвалась.

– Вот он, вот оборотень проклятый! – раздался хриплый голос. – Он со смертью был и на Москву ее напускал.

Перед спасавшимися показалась фигура Кочета, но в следующее мгновение он замолчал и рухнул на землю, сбитый страшным ударом молодого Павла Каренина.

– Бежим, государь, – выкрикнул последний, – это – передовой, за ним сейчас же и другие явятся.

Он ухватил царя за руку и, не обращая внимания на Анну, потащил его за собой.

– Идите, идите за ним, государь! – крикнула девушка. – Я знаю его; он – человек верный... Обо мне не беспокойтесь, я здесь своя.

Петр, не отдавая себе отчета, что такое происходит с ним, покорно последовал за молодым своим спутником.

– Это – Кочет, – пояснял Павел, – он передовой. Он видел тебя, Петр Алексеевич, когда ты с костяком занимался; с Телепнем он был, и всю эту ораву они на тебя навели, перепугались. Идем сюда вот!

Царь и Каренин свернули в новый переулок.

Разгоревшаяся на церковной площади драка принимала все большие и большие размеры. В слободе ударили в набат, и, к своему ужасу, обитатели Кукуя услышали, что этому набату

ответила Москва. Очевидно, туда донесли тревожные призывы, и кто знал, что могло оттуда последовать!

Елена Фадемрехт, вся дрожа от испуга, стояла у окна наружных комнат и смотрела на происходящее на площади. В это время она услышала, как сзади хлопнула дверь и кто-то вошел, вернее сказать – вбежал, в пасторский домик. Девушка обернулась. Позади нее стоял Михаил Каренин.

Знала его Елена, не раз они не только встречались, но и вели хорошие, дружеские беседы. Строен и статен был этот молодой Каренин, нежны были черты его лица, глубокой бездной были его черные глаза. Нравился он Елене, и ради него она пустилась на хитрость, отстраняя от себя всю ту честь и славу, которая, как рассчитывал пастор, могла принадлежать ей, как Юдифи Кукуевской слободы.

– Ты что? Зачем ты здесь, Михаил? – воскликнула она. – Ты был среди озорников?

– Да, был среди них, Аленушка, – бессильно опуская руки, ответил юноша, – я их сюда и навел... Не стерпело мое сердце.

Он был сильно смущен и, видимо, плохо соображал, что говорил.

– Чего твое сердце не стерпело? – подступая к нему, воскликнула Елена. – Чего, говори?

– Его я здесь увидел, его... разлучника моего.

– Кого его? Царя? Да отвечай же!

Она не дождалась ответа. Михаил Каренин стоял перед ней, поникнув своей красивой головой.

– А, ты молчишь! – выкрикнула Елена. – Ты сам не знаешь, что и сказать... Знаю я вас, московских озорников! Только в один свой кулак веруете... Кричит «люблю», а сам норовит кулаком в бок! Так мы здесь, в Немецкой слободе, не такие... Как ты смел только про меня дурное помыслить? Ваш царь молодой – у нас гость здесь, и мы как гостю рады ему... А ты ревновать... Да кто тебе на меня такое право дал?

Голос Елены перешел в крик, лицо покраснелось, глаза так и сверкали.

– Прости, Аленушка! – робко вымолвил Михаил. – Все равно что слепой я от любви моей к тебе...

– А, теперь «прости»! Московских буянов навел, такую драку устроил, а сам того знать не хочет, видеть не желает, что не ко мне, а к Анхен Монс ваш молодой царь льнет...

– Аленушка, – вскрикнул влюбленный юноша, – да неужели это правда?! Прости же, прости меня!..

– Ступай, заслужи вперед мое прощение, – уже торжествующе крикнула Елена, показывая на дверь. – На глаза мои не показывайся, пока тебя царь Петр другом не назовет. Понимаешь? Добейся у него этого и тогда только назад ко мне приходи... Ступай, нечего тебе здесь делать больше!.. – И она вышла, сильно хлопнув дверью.

Михаил постоял, видимо, в раздумье, и опечаленный побрел вон из пасторского дома.

Юноша любил эту живую, красивую девушку, любил так, что ради нее забывал все на свете. Встретились они у Фогель вскоре после того, когда дети боярина Каренина разыскали свою любимую воспитательницу, и сразу же первая юношеская любовь вспыхнула в сердце Михаила. Не умел он таить свои чувства и сказал Елене все, что было у него на душе. Та не приняла всерьез эти объяснения, но и не отвергла их сразу. Михаил понял это как добрый знак для себя и, пожалуй, более для Елены Фадемрехт, чем для Фогель, зачастил в Кукуй-слободу. И Елена не гнала его прочь; ей самой нравился этот красивый русский юноша, и она не была противницей его наивного восторга и ухаживания.

И вот теперь произошел взрыв.

XV. Из-за «оборотня»

Михаил точно так же, как и Павел, его брат, знал о частых тайных наездах царя Петра в Кукуй-слободу. В стремление царя к учению он не верил и приписывал эти наезды желанию Петра овладеть Еленой. Тут уже ревнивое чувство подсказало Михаилу, как устранить со своего пути соперника.

Михаил Каренин на жизненном пути во всем следовал отцу, боярин же Родион Лукич терпеть не мог весь род Нарышкиных и всегда держал сторону Милославских, стало быть, и царевны-правительницы. Он и старшему сыну внушил свою нелюбовь к Нарышкиным – «ниже они Карениных родом были», – и потому-то для Михаила молодой царь Петр, происходивший из этого рода, не был дорог; мало того, предполагая соперничество царя в любви к Елене, он постоянно питал к нему одну только неприязнь.

Подсмотрев, что царь Петр, как и всегда потайно, наехал в пасторский домик, Михаил подбил несколько пьяных и особенно буйных стрельцов завести на церковной площади драку, надеясь, что таким путем удастся отвести Петра Алексеевича от его наездов сюда.

Случай помог Каренину в этой затее. Отчаянные вопли Кочета и Телепня подтолкнули собравшихся уже близ пасторского дома стрельцов, а их безумно-несвязные рассказы об «оборотне», принявшем царский вид и напускавшем на Москву лютую смерть, довершили начатое. Буйство вспыхнуло и вдруг разрослось, и теперь его зачинщику, опомнившись после слов Елены, приходилось унимать буянов.

Удрученный, не знавший, как ему быть, вышел Михаил из пасторского дома.

Драка уже затихала; алебардисты слободы сумели управиться с нетрезвыми буянами и разогнали их; звуки набата смолкли. Михаил стоял на площади и не знал, куда ему идти.

Было темно, улицы уже успокаивались, кое-где еще мелькало багровое пламя смоляных факелов. Михаил Каренин, стоявший в раздумье, вдруг встрепенулся. В темноте раздался лошадиный топот. По тому, как часто раздавались удары копыт, Михаил различил, что едут двое. Ему вспомнилось, что на дворе Фогель стоят две лошади, и тут уже пришло в голову, что ему самое лучшее вернуться к этой доброй женщине и вместе с братом Павлом отправиться обратно на Москву. Там можно было на покое обсудить все, что произошло, и как им вести себя дальше. Но едва он успел подумать это, как у самых его ушей раздался лошадиный храп и в следующее мгновение он был сбит с ног грудью наткнувшейся на него лошади. Слегка вскрикнув, Михаил упал, но, падая, крикнул не столько от боли при толчке, сколько от изумления. Он узнал голос своего брата Павла, горячо убеждавшего в чем-то своего спутника. Михаил быстро вскочил на ноги, но всадники уже были далеко, и Каренин понял, что даже и догонять их не стоит.

«С кем мог быть Павел? – подумал он. – Уж не наших ли коней он угнал? Тогда как же мне вернуться?»

Эта мысль заставила его заспешить к дому воспитательницы, но дойти туда ему не удалось. Едва он отошел на несколько шагов от места своего падения, как был окружен толпой, видимо, возбужденных людей в длиннополых кафтанах и остроконечных колпаках. Это была небольшая кучка рассеянных алебардистами стрельцов.

– Стой, – заорал один из них, хватая Михаила за ворот кафтана, – что за человек? Наш или немецкий?

Молодой Каренин, по голосу и выговору узнавший говорившего, ловким движением освободился из рук стрельца и даже успел дать ему легкого тумака...

– Чего лезешь, Еремка, – зыкнул он, – иль не признал?..

– Свой, свой! – заорали стрельцы, узнавая его. – А проклятого оборотня не видал ли?

– Какого еще оборотня.

– Да тут нарышкинским царем прикидывался и черную смерть на Москву напускал...

Михаил, конечно, знал, в чем дело, не раз он видал у пастора и человеческий костяк, но вновь зашевелившееся неприязненное чувство к молодому царю не позволило ему разубедить буянов.

– Выдумаете тоже! – пробормотал он. – Оборотень!

– Не веришь? Спроси Телепня и Кочета... Они собственными глазами все видели... А потом Кочет оборотня в проулке встретил. Хотел, перекрестясь, наотмашь двинуть, как по закону полагается, а тот только и всего чтодохнул на него, Кочет и с ног свалился. Словно ветром сдуло... Потом оборотень сразу устроился – вместо одного три их стало и из глаз исчезли...

– Голове да дьяку об этом непременно рассказать надобно, – слышались голоса.

– Так идем, чего мешкать-то! – крикнул кто-то. – Вот опять немчины с алебардами на нас бегут...

Действительно, к стрельцам с воинственными криками приближались кучки кукуевских алебардистов.

Те уже по опыту знали, каковы будут последствия столкновения, и пустились наутек, увлекая за собой и Михаила.

Судьба как будто сама распоряжалась братьями: младший стал на сторону гонимого царя, старший, несмотря ни на что, присоединился к его гонителям.

XVI. Царевна-богатырша

Немного прошло дней с только что описанных событий, как на Москве стало чувствоваться приближение чего-то страшного. Москвичам не раз приходилось испытывать такое тревожное настроение; та эпоха была полна неожиданностей, сопровождавшихся обычно потоками человеческой крови. Но теперь чувствовалось приближение из ряда вон выдающихся событий, и вместе с тревогой в души москвичей проникал гнетущий страх.

Не проходило ночи, чтобы своевольные стрельцы не производили какого-нибудь буйства, и никто, решительно никто не принимал мер, чтобы унять их. Уже по этому было видно, какие назревали события. Однако мирные москвичи, на которых не обращали никакого внимания, должны были сыграть в предстоявших событиях большую роль, и победа должна была остаться на той стороне, на которую они встали бы. Слепленная своею любовью к Голицыну, правительница не принимала этого во внимание; она всецело полагалась на стрельцов и на их главного воеводу, окольного Федора Шакловитого, которому поручила вести стрелецкий приказ, и ни во что не считала населения Москвы.

А буйства разнуздавшихся стрельцов все больше и больше восстанавливали москвичей против царевны.

– Боек царь Петр Алексеевич, – говорили всюду на Москве, – да он все-таки – царь, а царевна Софьюшка, что ей бояре прикажут, то и творит. Бояре же народу всегда первые враги были, добра ждать от них нечего. Все гили ими устроены, чтобы народ прижимать.

Такие разговоры велись всюду и довольно громко, так что популярность молодого царя росла буквально не только по дням и часам, но даже и минутам.

Софья ничего этого не замечала. Ее ближайший друг и советник, князь Василий Голицын, «оберегатель»¹³, несмотря на свой могучий природный ум, с презрением относился к народу и действительно ни во что не считал его. Шакловитый же, обязанный Софье своим богатством, возвышением и почестями, может быть, и слышал о московских толках, но вовсе не в его интересах было уговаривать Софью возвратить власть брату: тогда он потерял бы все. Личная выгода заставляла его поддерживать правительницу в уверенности, что на ее стороне сила и что она непременно выйдет полной победительницей из борьбы со своим младшим братом.

Так назревали события. Был уже в первых числах август. Софья и Голицын сидели в одном из покоев Большого дворца. Князь Василий Васильевич был невозмутимо спокоен, а на лице энергичной дочери Тишайшего царя так и отражалось переживаемое ею волнение.

– Не могу я терпеть более, – жаловалась она. – Уж хоть один конец был бы!.. А то как жить, когда ни в тех ни в сех находишься и видишь, как подлые людишки только что в глаза над тобой не смеются?!

Князь Василий равнодушно взглянул на нее.

– Это ты все ссору-то с братом забыть не можешь, свет Софьюшка? – спросил он. – Пустое это, оставь!

– Как я могу оставить? – опять заволновалась правительница. – Разве я мало работаю, мало тружусь, чтобы врагу свое место уступать? Нет, Васенька, вижу я теперь, на Москве нам двоим не быть. – Ее глаза метали молнии, голос становился хриплым. – Только ты один у меня и есть, – снова заговорила она, – только для тебя одного и живу я, а не то давно в обитель ушла бы... Да как я уйду, ежели знаю, что без меня тебя сейчас же со света сживут?.. И ничто-то его не берет! – с новой вспышкой гнева выкрикнула царевна-правительница: – Другой бы на его месте давно окочурился бы, а ему все ничего.

¹³ Высшая должность, равнозначная ныне канцлеру.

– А ежели умрет он, – наставительно сказал Голицын, – то может большая смута быть, и мы с тобой, Софьюшка, тоже все потерять можем...

– Будто уж так его любят, нарышкинского царька? – горько усмехаясь, спросила Софья.

– Ну там, любят или нет, это – дело другое, а законным помазанником Божиим его считают...

– Пусть себе считают! Как хочу я, так тому и быть должно. Я правительницей буду! А если Петр умрет, а Иван останется, смуты никакой не выйдет...

– Но ведь и братец твой Иванушка недолговечен, – возразил было Голицын.

Глаза Софьи блеснули недобрыми огоньками.

– Будет жить, пока я того хочу! – крикнула она.

– А потом?

На мгновение вопрос как будто смутил правительницу, но она быстро оправилась и резко ответила:

– Что потом, то видно будет.

Неожиданно распахнулись двери, и вбежал, даже не доложив о себе сперва, высокий, мощного вида человек в богатом кафтане и шапке окольничего. Это был знаменитый стрелецкий вождь, правая рука правительницы во всех ее делах.

– Матушка-царевна, – быстро заговорил он, – прости, что ворвался и беседе твоей помешал! Дело такое, что никак ждать не может.

– Что такое? – быстро поднялась царевна. – Опять что-нибудь с братом младшим? Что он натворил?

– Он не он, а из-за него все. Мои стрельцы будоражат, как и сдержат их – придумать не могу...

– Что же еще такое приключилось?

Теперь на лице Софьи ясно отразились любопытство и тревога. Шакловитый взглянул на нее, откашлялся и выразительно заговорил:

– Докладаю я тебе, мать родимая, что по стрелецким караулам под вечер разъезжал тут боярин Лев Кириллович Нарышкин и хотел бить и мучить всячески моих стрельцов...

– Оставь! – крикнула на него царевна. – Нечего мне сказки говорить, правду докладывай! Будто я не знаю, что то не Нарышкин был, а твой же содруг, подьячий Шошин.

Шакловитый не смутился и дерзко смотрел на правительницу.

– В самом деле, Федя, – примирительно сказал князь Голицын, – об этом мы все знаем. Нет ли у тебя чего новенького?

– И новое есть, князь Василий Васильевич! – переводя на него свой взор, ответил Шакловитый. – Были тут мои молодцы в Кукуй-слободе и видели там молодого царя Петра Алексеевича... Не в обиду будь тебе сказано, матушка-царевна, видели они его там за таким делом, какое московскому царю вовсе не подобает...

– Что же, что такое? Опять в канаве валялся? – быстро спросила Софья.

– Нет, это что! К такому виду никому в Москве, а тем больше в Преображенском не привыкать стать!.. Видели брата твоего, Софья Алексеевна, – уже нагло и дерзко, видимо, сознавая свою силу, заговорил Шакловитый, – со смертью бок о бок. Ишь ты, чародействовал он! С сухими человеческими костями без кожи, крови и мяса разговор вел и на Москву смерть уговаривал идти и погулять там, сколько ей вздумается. Сперва-то ребята думали, что оборотень, а потом порешили, что от Нарышкиных все статья может...

XVII. На все готовый

Он остановился, как бы ожидая, что скажут в ответ на его речи Софья и Голицын. Правительница сидела понурившись, князь Василий Васильевич усмехнулся, насмешливо поглядел на Шакловитого и спросил:

– А ты сам-то, Федя, веришь этому? Веришь ли, что человек может с сухими костями другого человека беседу вести и от этих костей целому городу что-нибудь худое приключиться может?

– Прости меня, князь Василий Васильевич, – неприязненно взглядывая, ответил Шакловитый, – о том, что в царевых войсках происходит, я государыне нашей доклад делаю и ни одного слова о том не лгу, а верю я тому или нет про то я сам знаю...

– Ты меня прости, Федя! – остановил его князь. – Ведь это я все к тому сказал, что человеческий костяк ты и у меня в палатах видел. В той же самой Немецкой слободе он мною куплен, и оба мы с тобой по нему разбирали, где у человека какая кость находится...

– Опять-таки, – перебил его стрелецкий вождь, – про то я тебе ничего не говорю. Я лишь про то рассказываю, что в стрелецких приказах, караулах да слободах говорят. А что об этом говорят, так, ежели хочешь, сам послушай. Вот пойдем, проведу я тебя в любую слободу, ты и услышишь сам. А что царь Петр Алексеевич на Москву смерть насылал, так об этом все стрельцы во весь голос кричат и на Преображенское идти собираются. Как бы беды какой не вышло... Вот сегодняшнюю ночью около самых царских палат дважды избы загорались. А кто поджигал?.. Судом спрашивать будете – ничего не скажу, а ежели так побеседовать, по душам поговорить, так и это мне ведомо... А еще вам скажу: по всей дороге от Преображенского до Москвы нарышкинского царя караулят... Должен же я вам рассказать обо всем этом... Если беда случится, с кого спросится? Все с меня же! А я в ответе быть не хочу; как вы мне укажете, так и будет. Только одно мое последнее слово: не сдержат мне стрельцов. Ну, там день-другой как-нибудь уговорю, а дальше мое слово бессильно будет, не послушают. Приказывай, матушка-царевна, как быть? Поставь вместо меня другого; может быть, он лучше со стрельцами управится, а мне не вмоготу.

Шакловитый замолчал. Софья, хоть она и ненавидела брата, все-таки не осмеливалась сказать решающее слово и боязливо взглядывала на своего фаворита. Но лицо того по-прежнему было совершенно спокойно и бесстрастно.

– Вот что, Федор, – сказала царевна, – больно ты великое дело нам доложил, как и быть – не знаю. Нужно бояр созвать и с ними порешить, а без них что я?

– То-то, матушка! – восторженно воскликнул Шакловитый. – Да ты на народ свой напраслину взводишь. Все мы – твои рабы и дети, за тебя животы наши положим. Хотим мы, чтобы ты над нами была царицей, а Нарышкиных не желаем. Решись, слово скажи – и все по-твоему будет.

– А Москва? – тихо и робко спросила царевна.

– Что Москва? – выкрикнул Шакловитый. – Москву и в счет ставить нечего: Москва туда пойдет, на чьей стороне одоление будет. А Нарышкины? Что они сделать могут?

– Слышишь, сердечный друг, что говорит Федя? – обратилась к Голицыну Софья. – Не то ли самое и я тебе говорила?.. Нет более сил терпеть мне такую муку... Да и зачем терпеть ее? По отцу Петр – брат мне... Но что же это за родство? Ведь я ему ненавижна так же, как и он мне... Но пусть я и он... что мы? Мы – только смертные люди... Но за нами стоит Русь... Если сдам я царство Петру, что из этого будет? Все он по-своему перевернет и переломает всю землю нашу так, что кусочка на кусочке целого в ней не останется... И ослабеет Москва, всякая смута разведется... А соседи кругом так и сторожат нас... И будет то, что уже раз было: новое лихолетье настанет. Все на нас кинутся и будут наследие нашего брата, отца и деда рас-

таскивать... Вот что будет, если Петр на царстве останется... Того ли ты хочешь? Или не жалко тебе ни земли нашей, ни народа родимого?

Все это Софья проговорила с яростной пылкостью. Голос у нее был грубый, почти мужской, соответствовавший ее высокой, мужественной фигуре. Произнося слова, Софья то и дело повышала тон. Ее грудь от волнения высоко-высоко вздымалась, глаза сверкали, голова слегка тряслась.

Князь Василий Васильевич, к которому она обратила свой вопрос, ничего не ответил ей; он только как-то особенно смотрел на любимую женщину. Видимо, нравилась ему эта пылкость и он любовался тем оживлением, которое делало красивым лицо Софьи.

Восторженными глазами следил за правительницей и Федор Шакловитый. Он, сам по своей природе страстный и впечатлительный человек, тоже был охвачен волнением.

– Матушка-царевна! – пылко воскликнул он. – Великую правду ты сказать изволила! Сам Господь глаголет твоими устами. Дедовщиной только и держится наша Русь. Всякие новшества – гибель для нее, и погибнет она, если твой брат на царстве будет... Чует это твое стрелецкое войско и не хочет, чтобы твой брат от Нарышкиной царем был... Повели только – и спасем мы нашу родину от нового смутного времени... Все будет ладно, слово только скажи! – И он снова устремил на Софью свой пылающий ожиданием взор.

Но царевна молчала: страшно было то слово, которого требовал от нее этот человек.

Однако все-таки нужно было дать ответ... Софья взглянула на Голицына; князь по-прежнему был бесстрастно спокоен.

– Ступай, Федор. Иди, – проговорила правительница, потупляя взор, – а мы тут еще об этом подумаем, да я потом позову тебя.

Шакловитый в пояс поклонился Софье, отвесил почтительный поклон князю и вышел из покоя.

XVIII. Надорванная мощь

После ухода Федора Шакловитого и царевна, и князь Василий несколько времени молчали. Видно было, что их обоих охватывали тревожные, мутившие их дух, лишавшие их покоя мысли.

– Ну, что ты скажешь, оберегатель? – подняла наконец опущенную голову неукротимая царевна. – Вот ушел Федя, а неведомо, что он нам назад принесет.

– А то скажу, Софьюшка, – мягко и даже нежно ответил князь Василий Васильевич, – что боюсь я, как бы беды не было.

– Беду ты провидишь, – воскликнула Софья, – или боишься ты?!

– Пожалуй, что и боюсь, Софьюшка, – по-прежнему ласково проговорил князь, – и как не бояться? Ведь против царя с пьяной сволочью идти мы с тобой задумали.

Царевна презрительно засмеялась.

– Не холопья ли кровь в тебе заговорила? – воскликнула она.

– А что же? – совершенно спокойно отнесся к этому явному оскорблению Голицын. – Ведь мы, бояре, все – холопы царей... Пока царей не было, мы ближние люди при великих князьях были, а потом блаженной памяти государь-царь Иван Васильевич воочию показал нам, что мы только – холопы. Так с тех пор и повелось... Служим мы своему господину и от него жалованье свое получаем. И не у одних нас так, – так везде. Зарубежные-то государства я знаю. Там то же самое. Тамошние-то вельможи – холопы еще хуже.

– А я-то как же ничего не боюсь? – перебила его рассуждения Софья Алексеевна. – Мне, кажись, более всех бояться должно.

– Да по тому самому, Софьюшка, что ты Петру – сестра, а не холопка... Вы с ним равные... Одна кровь, одна плоть... Оба вы, как себя помнить начали, нами повелевали, а сами, кроме батюшки да матушки, никого не слушались.

– А вот люблю же я тебя... холопа! – воскликнула пылко Софья. – Вровень пред Богом стоим, хоть и не венчаны...

– Только пред Богом, Софьюшка, – мягко возразил Голицын, – только пред Богом, а не пред людьми... А пред Ним, Многомилостивым, и царь, и смерд одинаковы. Перед людьми же, родимая, никогда вровень нам не стать... невозможно. Не так люди на земле устроились, чтобы все вровень стоять могли. Вот и теперь начнет Федя смуту, а что выйдет? Одни люди за тебя пойдут, другие – за царя Петра Алексеевича, а третьи – ни к нам, ни к царю не примкнут, будут выжидать, кто верх возьмет. И беда будет, Софьюшка, ежели не нам верх останется.

– Не пугай, оберегатель, – холодно произнесла царевна.

– Не пугаю, а размышляю, царевна мудрая, – в тон ей ответил князь, – оба-то мы с тобой не столь уже молодые – вот у меня вся голова седая, – чтобы без размышления на случай один полагаться. Случай слеп, летает быстро, не всякому в руки дается. А посему, надеясь на лучшее, ожидай допреж сего худа: лучшее само придет, а от худа оберегаться надобно.

Царевна на это ничего не сказала. Ее голова опустилась на грудь, пальцы рук судорожно перебирали складки богатой одежды.

– Вон, – произнес Голицын, – приднепровский гетман едет... Поистине гость хуже татарина, а принять его надобно...

– Ах, что мне до Мазепы, – с внезапным порывом воскликнула Софья Алексеевна, – что мне до нарышкинца! О тебе, свет очей моих, Васенька, думаю, за тебя страшусь... что с тобой-то будет, ежели наше дело удачи не найдет.

– Что будет, то и будет! – спокойно проговорил Голицын.

– Тебе хорошо: мудрый ты, – чуть не плакала эта неукротимая женщина, – а мне каково? Как придет на мысль, что прикажет тебя казнить брат мой, ежели верх его будет...

– Что же, – по-прежнему спокойно отозвался князь, – умереть сумею... Мне ли плахи бояться, ежели она мне немало служб справила! Сам под топор лягу.

– И надорвется тогда сердце мое... Ты под топор, из меня дух вон... Столько ведь лет... Волнение пересилило ее. Куда девались ее неукротимость, непоборимая мощь! Сказалась женщина, и слабая женщина, сжигаемая страхом за того, кто дорог ее сердцу.

Она приникла своей большой черной головой к широкой груди князя Василия Васильевича и зарыдала, громко зарыдала.

Голицын даже вздрогнул от удивления. Он не раз видел Софью Алексеевну в слезах, но то всегда были не жалкие слезы отчаяния, – в прежних слезах неукротимой царевны изливалась досада, находил себе облегчение гнев. Таких слез князь Василий Васильевич еще не видывал.

– Полно, Софьюшка, полно! – гладил он по голове, как ребенка, плачущую царевну. – Перестань тревожить себя раньше времени... Кто там знает, что завтра будет... Может, все по-нашему выйдет, а ты убиваешься.

Царевна продолжала рыдать.

– Софьюшка! – вдруг воскликнул вне себя от удивления Голицын. – Да ты как будто и сама в затеянное не веруешь?

– Ах, – ответила сквозь рыдания царевна, – чует мое сердце недоброе...

Она отстранилась несколько от князя и, как будто успокоившись немного, отерла слезы.

– Вот чего я более всего боялся! – медленно и торжественно проговорил оберегатель. – Мощный дух надорван, веры в удачу нет... Теперь и я завтрашнего утра страшусь.

– А все-таки, – со злобой воскликнула Софья Алексеевна, – что там ни будет, а до конца пойду... Князь Василий Васильевич...

– Что, царевна?

– Поклянись мне на одном тем, что тебе дороже всего, поклянись!

– В чем клясться приказываешь?

– Исполнишь ты, ежели удачи нам не будет, то, о чем я тебя просить буду?

– Царевна! И без клятвы знаешь, что исполню я...

– Нет, ты все-таки поклянись... Что тебе дороже всего? Да не теперь, Васенька, а потом... потом, когда беда настигнет... – Она остановилась и вопросительно поглядела на Голицына. – Ну, чего же ты, Василий, молчишь! Отвечай, что тебе будет и в беде дороже всего?

Князь Василий Васильевич и на этот раз медлил ответом.

– Трудное ты меня спрашиваешь, Софьюшка, что мне дороже всего... Хорошо, отвечу тебе по всей совести: дороже всего была мне любовь твоя... да! Как оглядываюсь я назад, на те годы, что уже прошли, и вижу я в их тумане одну звезду – твою, царевна ненаглядная, любовь... А что впереди? Ой, ты вот сразу сказала то, что я с самого начала на уме держу: плохо я верю в удачу нашу... По всем видимостям так выходит, что за брата твоего больше народа стоит, чем за нас с тобою... Так что же вернее всего ждет меня впереди? Может быть, плаха да топор, может быть, опала лютая, застенки, может быть... Так вот что я тебе скажу: в хомуте ли на дыбе, на плахе ли под топором, в опале ли лютой, куда бы ни послал меня твой брат, нас одолевши, память о твоей... о нашей любви... лучезарным солнцем всегда сиять мне будет... И умру я, счастливые наши дни вспоминая... Вот что мне дороже всего... И этим, ежели приказываешь ты, поклянусь я тебе на том, что исполню все по слову твоему.

Софья так и вздрагивала вся, слушая Голицына. На ее лице сияли и радость, и счастье, и восторг.

– Васенька! – воскликнула она, бросаясь к Голицыну и обнимая его. – Верю тебе! Счастлива я твоим словом...

Она и плакала, и смеялась; по ее лицу опять струились слезы, но это были уже слезы восторга. Голицын тоже был взволнован. Его красивое лицо было грустно.

– Так скажи мне теперь, Софьюшка, – проговорил он, – какое ты дело мне наказываешь, ежели худое выйдет.

– А вот какое, Васенька, – воскликнула Софья Алексеевна, – помни, что поклялся ты мне и что я твою клятву приняла.

– Сказывай, царевна, не томи.

– Ежели худое выйдет, – страстно заговорила Софья, несколько откидываясь назад и зорко впиваясь глазами в лицо любимого человека, – и брат-нарышкинец надо мной верх возьмет, так должен ты, князь Василий Васильевич, поехать к нему с повинной и челом ему о его милости ударить и тем свою жизнь спасти...

– Что! – воскликнул Голицын. – Ты этого от меня требуешь?

– Требую этого, и поклялся ты мне, что исполнишь... Ты, ты мне всего дороже... Хочу, чтобы жив ты был... Я с ним, с братом Петром, пока не преставлюсь, бороться буду и, кто знает, быть может, верх возьму еще... Так на что мне над врагом одоление, ежели тебя на белом свете не будет... Хочу, чтобы жив ты был... У брата есть кому и похлопотать за тебя, князь Борис – двоюродный братец тебе, а он у брата Петра в милости.

– Софьюшка! – только и вымолвил Василий Васильевич.

Он привлек к себе эту могучую женщину, и оба они зарыдали в объятиях друг друга...

XIX. Не разгоревшийся пожар

А Федор Леонтьевич Шакловитый уже начал то дело, в успех которого почти не верили ни неукротимая царевна, ни Голицын.

Он вышел из царевнина покоя страшно взволнованный.

Его лицо быстро изменило свое выражение, губы что-то шептали. Не кланяясь никому, с высоко поднятой головой вышел он из дворца. Там у крыльца его ждала свита – богато разодетые стрелецкие головы и дьяки стрелецкого приказа. Не взглянув на них, Шакловитый вскочил на подведенного коня и нервно рванул его за поводья. Видно было, что он волнуется, и все, бывшие с ним, успели заметить это.

– Эй, Шошин! – крикнул он, подзывая к себе одного из дьяков. – Поезжай рядом, поговорить нам надобно.

Шошин, сопровождаемый завистливыми взглядами, выдвинулся и поехал рядом с окольнымичим.

– Ну что, как у тебя там? – кинул ему Шакловитый.

– Все готово, милостивец. Повсюду стрельцы так и кипят; разожжены они так, что трудненько будет пожар потушить.

– Ничего, потушим, – небрежно ответил Шакловитый. – Не впервые ведь! Да, вот что: пусть сегодня, по двенадцатому удару с Ивана Великого, соберутся молодцы на Лыков двор... да пусть с пищалями придут, все как следует... А другие пусть соберутся на Лубянке и ждут...

– Ой ли! – воскликнул Шошин. – Стало быть, несдобровать Нарышкиным?

– Выходит, что так! – коротко ответил Шакловитый и сильнее погнал лошадь...

Ровно в полночь на Лыковом дворе в Кремле замелькали среди темноты ночи многочисленные фигуры. Это сходились стрельцы по зову Шошина. Шли без чинов, и скоро их собралось около тысячи. Однако они вели себя тихо; несмотря на такую огромную толпу людей, заведомо буйных, не слышать было не только криков или песен, но даже и разговора.

Вдруг у ворот Кремля раздался топот копыт мчавшейся во весь опор лошади.

– Ой товарищи, – вполголоса воскликнул сотник Гладкий, – не соглядатаи ли явились?!
Пойду посмотрю.

Все снова затихли. У ворот были слышны говор, брань, потом шум драки.

Вскоре появился Гладкий, таща за собой молодого человека в дворцовом кафтане.

Это был спальник царя Петра, Плещеев, прискакавший в Москву из Преображенского.

– По-моему, молодцы, вышло! – выкрикивал Гладкий. – Нарышкинский соглядатай явился. Тащу его к отцу нашему, Федору Леонтьичу, пусть делает с ним, что знает...

Гладкий и Плещеев скрылись в дворцовых сенях; на Лыковом дворе опять все стихло.

Так прошло около часа. Вдруг на одном из крылец распахнулись двери, замелькали багряные огни смоляных факелов, и на крыльце показался Шакловитый, разодетый, как на пир, вооруженный, как для битвы. Сзади него шли несколько бояр. Багровое пламя факелов озаряло их своим зловещим светом. Лица всех этих людей были бледны, бояре шли, словно осужденные на казнь.

– Эй, молодцы! – первым нарушая тишину, громко крикнул Шакловитый. – Знаете ли вы меня? Знаете ли, кто я такой?

– Как не знать, Федор Леонтьевич? – послышались отдельные голоса. – Отец ты наш милостивый, а мы все – послушные дети твои...

– А вот я посмотрю, какие вы послушные дети... Знаете ли вы, зачем сюда собраны?

– Доподлинно, милостивец, не знаем, – выдвинулся Шошин, – а только ежели ты нас зовешь, так, стало быть, служба какая-нибудь есть.

– Вот именно! – ответил стрелецкий вождь. – Даром среди ночи не стал бы я вас звать, знаю, что ночью всем спать нужно, а не колобродить; верно, нужна ваша служба царевне Софье Алексеевне... Милостива она к вам по-прежнему и жаловать вас будет, как детей своих родимых... Отвечайте же: готовы вы послужить ей?

– Еще бы! Умереть за нее, пресветлую, рады!

Шакловитый приостановился, вынул из-за пазухи кармана большой свиток и, не развертывая его, заговорил снова:

– Знаю я, слуги царские верные, что всем вам ведомо, какие такие дела на Москве завелись... Православная вера находится в колебании, дедовские обычаи попираются, немчинские свычаи богомерзкие заводятся. Что тут долго рассказывать-то вам? Сами поди знаете! Вон в Преображенском да в Семеновском растет новое войско... Вы своей грудью государство отставили, кровь на полях бранных проливали, а пройдет немного времени – и все ваши заслуги ни во что будут поставлены... Возьмут немцы верх над нашим отечеством, и будете вы хуже, чем скоты какие, прости Господи!.. Так вот и спрашиваю я вас: любы ли вам нарышкинские новшества, или дедовская старина вам по сердцу?

В ответ ему раздался сплошной рев.

– Умрем за дедовскую старину! – кричали отдельные голоса. – Не нужно нам немчинских свычаев!.. Без них жили, без них и впредь жить будем.

– Так, так, деточки, – одобрил подобные ответы Шакловитый. – А знаете ли вы, кто все это заводит?

– Нарышкины! Нарышкины! – послышались исступленные крики.

– Верно! Теперь я у вас вот что спрошу: ежели вам в палец заноза попадет, что вы делаете?

– Вестимо, вытащить нужно! – выкрикнул Шошин. – Не вытащишь, так и вся рука, а нет, так и сам весь от огневини пропадешь.

– Так-так, справедливо слово, – одобрил подьячего Федор Леонтьевич. – Стало быть, занозу всегда надо вытаскивать, чтобы самому в лютых мучениях не пропасть. Так вот Нарышкины – та же заноза... Идите же, молодцы, вытащите эту занозу... Спасайте Москву, государство все спасайте... Сослужите великую службу родимой земле, промедлите – худо будет.

– А как же с царем быть? – послышался из толпы робкий возглас. – Царь-то Петр Алексеевич ведь тоже Нарышкин?

– Какой он царь? Один у нас царь, Богом помазанный, – Иван Алексеевич, а по слабости его здоровья всем государственным делом вершит любимая мать наша родимая, царевна Софья Алексеевна. Вот вам – кто у нас царь! А нарышкинское отродье, по Божьему попущению, доселе тоже царем называется. Всех нарышкинцев надо истребить, все их скверное племя, да так, чтобы на развод не осталось. А если кто сомневается, что я правду говорю, так вот вам указ боярской думы и царевны нашей: глядите сами, вот он! Кто осмелится послушаться Богом поставленной над нами власти, идти против указа царевны?

– Никто, все, как один, пойдем! – заревели стрельцы.

В это время Шакловитый развернул во всю длину свиток, внизу которого была ясно видна печать царевны-правительницы. Это произвело впечатление. Крики на мгновение смолкли, но потом сейчас же возобновились, и в них уже была слышна прямо-таки стихийная ярость.

– Сейчас же пойдем на Преображенское. Найдем проклятого оборотня... Выведем нечисть с нашей земли... Все пойдем!..

– Идите, родимые, идите! – воскликнул Шакловитый и отодвинулся в сторону.

Сейчас же из-за него показалась фигура в черной мантии, и в этой фигуре многие узнали как будто тогдашнего патриарха Иоакима¹⁴.

¹⁴ По всей вероятности, это был монах, старец Сильвестр Морозов, правая рука Шакловитого во всех его заговорах.

– Господь вас да благословит, – послышался старческий голос, – на великое дело спасения веры православной и страны родимой.

Фигура в черном подняла вверх руки.

Трудно поддается описанию, что началось тут. Все этой толпой овладел невыразимый восторг. Люди плакали, целовались; некоторые лезли на крыльцо, кланялись в ноги стоявшим, лбызали их руки; другие умиленно крестились, и никто не заметил, как двое из стрельцов отделились из толпы и быстро выскользнули за кремлевские стены.

– Послужим царевне! – ревела толпа. – Покончим с Нарышкиными!.. Пусть их и на племя не останется.

И вдруг все двинулись, предводительствуемые Шошиным, к воротам Кремля.

– Что, бояре, каково? – спросил Шакловитый.

– Да уж что говорить, Федор Леонтьевич, не ускользнет поди теперь нарышкинский вороненок.

Шакловитый усмехнулся и, повернувшись, пошел во дворец.

XX. Ночные гости

Страшное задумывалось дело. Как будто решена была молодого царя участь. Где же было ему спастись, когда против него была стихийная сила? Кровавые примеры Бориса Годунова, Федора, Дмитрия Самозванца не прошли бесследно. Помазанник Божий перестал быть священным для грубой толпы.

Юный царь Петр Алексеевич, конечно, знал о том, что творится на Москве, но и мысли не допускал, чтобы старшая сестра осмелилась поднять на него руку. С беспечностью юноши он крепко спал в своей опочивальне, утомленный ласками молодой жены. Но кругом скромного дворца в Преображенском чуяли беду; ведь недаром же накануне ночью сами будто собою вспыхнули пожары, и только бдительность людей не дала им возможности разгореться. Сомнения быть не могло: пожары были следствием поджогов и нужны были только для того, чтобы произвести около дворца сумятицу, а в это время поджечь и дворцовое здание. Тогда, конечно, откуда ни возмись нахлынула бы буйная толпа, и вряд ли уцелели бы от лютой гибели юный царь и все его семейство.

И вот в ночной тишине раздался топот копыт. Во весь опор мчалась ко дворцу, не разбирая дороги, группа всадников.

– Отворите, отворите, – раздался у калитки женский голос, и в то же самое время какой-то высокий, рослый человек так сильно застучал в ворота, что этот неожиданный стук среди ночи донесся до царской опочивальни и разбудил юного царя.

В одно мгновение Петр был на ногах.

– Господи, Матерь Пресвятая Богородица! – пробудилась молодая царица Евдокия Федоровна. – Что же это такое? Да неужели же опять подожгли? Свет ты мой, Петрушенька, прикажи им уняться! Царь ты ведь!

– Молчи! – крикнул ей Петр и выбежал из опочивальни.

– Государь! – встретил его встревоженный спальник. – Повели, как тут быть. Прискакал из Кукуй-слободы немчин, а с ним немчинская девка простоволосая да два московских стрельца; требуют, чтобы тебя разбудили, а не то, говорят, всем худо будет.

– Прикажи прогнать, пусть утром приходят.

Глаза Петра сверкнули; он сразу сообразил, что только что-нибудь важное вынудило его друзей из Немецкой слободы примчаться в Преображенское, в его дворец.

– Стрельцов сюда, в этот покой! – распорядился он, указывая на соседнюю комнату. – Поставить караулы, не выпускать их никуда и к ним никого не допускать, а тех двух немчинов ко мне!

Спальник бесшумно исчез.

– Ой, эти безбожники стрельцы! – воскликнул, оставшись один, Петр. – Когда же мне удастся раздавить их проклятые змеиные гнезда?.. А все сестра со своим Васенькой... яд-баба! Все от нее... вся... смута... весь раздор...

По своей натуре Петр никогда – ни в юности своей, ни в зрелых годах – не был храбр¹⁵. В этом отношении в него перелился характер его отца – Тишайшего.

Всякие излишества ослабляли его организм, а стало быть, и волю. Он никогда не был ни умен, ни находчив, но зато природа наградила его повышенным упрямством. Упрямство, но не сила воли, есть недостаток человека, и то мнимое могущество характера Петра, о котором так много говорилось впоследствии, было не более как самодурством прирожденного деспота,

¹⁵ Есть показание современников, что Петр, получив известие о походе возмущившихся стрельцов на Преображенское, со страха в одной только ночной рубахе убежал из дворца в близкий к Преображенскому лес. Постельничий Гаврило Головкин доставил ему сюда платье, и царь, наскоро одевшись, ускакал в лавру. Его мать и жена выехали в лавру много позднее. Об этом эпизоде упоминает в своей «Истории государства Российского» и С. М. Соловьев.

далеко не умного, но хитрого, лишь умевшего пользоваться обстоятельствами и приноравливаться к ним; впоследствии бегство из-под Нарвы, где была брошена вся армия, появление на Полтавском поле, когда битва была уже окончена, позорный откуп от визиря во время турецкой войны, не говоря уже о стрелецких казнях 1699 года, совершенно ненужном перенесении столицы на окраину государства, причем нужно было вовсе не открытое море, а возможность бегством за рубежом спасти свою жизнь; кровавые расправы со всеми, кто был слаб, и ухаживание за теми, кто так или иначе был выгоден, все это в достаточной мере показывает, какова была природа этого второго из грозных царей России.

Но в то же время Петр Алексеевич обладал недюжинными способностями актера и всегда умел маскироваться, так что только самые близкие люди видели, каков он в действительности. Таких близких было очень немного, но для них Петр не был загадкой. Они умело пользовались им ради создания и упрочения своих собственных выгод, и впоследствии деспот стал покорной игрушкой в их руках.

Но в то время, в дни своей ранней молодости, он для многих еще был загадкой. Его поведение даже для лучших людей того времени приписывалось не его личным свойствам, а попустительству честолюбивой сестры, добивавшейся власти. На него надеялись, и если были сторонники у царевны Софьи, то были они и у юного царя, и не в таком уже малом количестве, чтобы в случае борьбы не было надежды на успех.

Петр знал это и с поразительным умением применялся к обстоятельствам. Теперь он понимал, что ему грозит большая опасность, и уже быстро соображал, как он должен поступить.

Вдруг он весь вздрогнул; дверь хлопнула, спальник ввел в покой царя мужчину и женщину.

Первый был авантюрист Лефорт, вторая – Анна Монс.

– Государь, – задыхаясь от волнения, воскликнула последняя, – среди глубокой ночи примчались мы сюда, чтобы сказать вам, что Москва восстала против вас.

XXI. Смущенный царь

Анна говорила по-немецки. Слова вырывались у нее с торопливостью, совсем не соответствовавшей ее обычному спокойствию. По всему было видно, что она безмерно спешила. Ее щеки разгорелись огнем, все лицо было покрыто крупными каплями пота, непокорные золотистые волосы выбились из-под накинутого кое-как платка. Все-таки Анна была замечательно хороша. Нервное возбуждение оживило ее лицо, и юный царь даже отступил назад, невольно любуясь ей.

– Москва восстала против меня? – сказал он довольно спокойно. – Не может того быть, фрейлейн Анхен!.. Что-нибудь набуянили стрельцы, и вы приняли их обычное буйство за мятеж...

– Нет, нет! – перебила Анна. – На этот раз не обыкновенный беспорядок; огромная толпа идет сюда, чтобы убить вас...

– Меня убить? – Петр невольно побледнел, схватился руками за голову, и перед ним живо восстала картина пережитых стрельцких неистовств. – Убить, меня убить, – повторял он, – да разве это возможно?

– Возможно, государь! – продолжала Анна. – Я была в Москве, у знакомых моего отца, и там узнала все. Правительница издала об этом указ, и Шакловитый послал сюда людей... Понимаете, правительница...

– Сестра! – простонал Петр. – Она, она дерзнула... Милый Франц, неужели все это – правда!

– Государь, – выступил Лефорт, – увы, это – правда... По дороге сюда мы нагнали двух стрельцов... Они ужаснулись, когда услышали о задуманном преступлении, и мчались сюда, чтобы предупредить вас... Вы, государь, можете спросить их сами.

– Что же делать, Франц? – взволнованно заговорил Петр. – Здесь, в Преображенском, нет даже моих потешных.

– Я послал за ними.

– Но успеют ли они явиться сюда.

– Увы, государь, не могу поручиться за это...

– На помощь вам, государь, – вмешалась Анна, – явятся все наши алебардисты; я послала верного человека к господину Гордону.

– Но и они опоздают, – поспешил вставить свое замечание Лефорт, – стрельцкая ватага уже на полпути...

– Что же делать? – вырвался стон у Петра. – Тогда я погиб!..

Он так и заметался по покою. Страшная тоска исказила его лицо; в эти мгновения он и сам искренне считал себя погибшим.

– Дитяtko мое ненаглядное, – раздался женский вопль, – опять стрельцкая напасть нас постигла!

– Свет мой Петрушенька, лапушка мой ненаглядный, – смешался с этим воплем другой, тоже женский, – да как же это так? Да где же это в писаниях есть, чтобы против царя бунт подымать, на него, помазанника, дерзнуть?.. И ночью-то покоя нет...

К Петру одновременно с двух сторон кинулись две женщины. Одна была почти старуха, другая – совсем молоденькая. Обе они дрожали от испуга, обе плакали и причитывали. Они обнимали Петра и своими воплями еще более угнетали его, лишали его в эти роковые мгновения, когда жизнь всех их троих висела на волоске, всякой способности думать и подыскивать выход из ужасного положения. Это были мать и жена Петра, царицы Наталья Кирилловна и Евдокия Федоровна.

Их причитания терзали царя. Он понимал, что и они должны будут погибнуть вместе с ним, и что-то похожее на жалость шевельнулось в его сердце. Его взгляд невольно скользнул по переставшей уже быть стройною фигуре жены: Петр знал, что вместе с нею должен погибнуть и кто-то третий, быть может, наследник его царского престола, и при мысли об этом его сердце болезненно сжалось...¹⁶

А время шло... Каждое промелькнувшее мгновение приближало молодого царя и его семью к гибели.

– Государь, – резко заговорила Анна, выступая вперед, – пока человек живет, он не мертв... Отчаяние – последняя ступень к гибели... Женскими слезами вы не спасетесь... Нужно действовать! Будьте же мужчиной!

Хорошо, что Анна говорила по-немецки. Царицы не понимали этого языка, но для них, в особенности для молодой царицы, было вполне достаточно того, что простоволосая «девка-немчинка» осмелилась заговорить с царем.

Петр жестом руки отстранил от себя обеих женщин и отрывисто, также по-немецки, спросил:

– Что же мне делать?

– Бежать! – разом, в один голос, ответили ему Анна и Лефорт.

– Бежать? – удивился царь. – Куда?

– Государь, – заговорил теперь Лефорт, – совсем недалеко есть великолепная крепость, уже раз изумительно выдержавшая труднейшую осаду... Я говорю про монастырь, в котором похоронен чтимый вашим народом человек... Идите туда, укройтесь там... Там вы будете под защитой святых. Ваши монахи – не ваши стрельцы, они сумеют защитить вас... Да их защиты и не нужно... Пусть они примут и укроют вас хотя бы до утра. Нам нужно выиграть время. К утру я успею привести к монастырю наших потешных, а господин Гордон – своих алебардистов и мушкетеров... Этого будет вполне достаточно. Не все стрельцы возмутились. Вашим врагам удалось взбунтовать не более как полторы тысячи отчаянных головорезов. Правительница вовсе не желает народного бунта; она добивается вашей смерти и думает, что для совершения такого преступления достаточно нескольких головорезов. Спасайте, государь, себя! Сейчас уходите от непосредственной опасности...

– Да, да, государь, послушайте господина Лефорта, – воскликнула Анна, – поверьте ему!

¹⁶ Свадьба царя Петра и Евдокии Федоровны Лопухиной состоялась 27 января 1689 г. Первый сын Петра, царевич Алексей, родился 26 февраля 1690 г.

XXII. Бегство

Анна так увлеклась, что, не обращая внимания на цариц, схватила царя за руку и порывисто толкала Петра вперед.

Это не прошло незамеченным. Так и вспыхнуло яркою краскою стыда хорошенькое личико молодой царицы, а ее глазки заблестели огоньками ревности и гнева.

– Свет Петрушенька, – воскликнула она, – выгони вон эту бесстыжую! Как она, мерзкая, тебя, помазанника, смеет так хватать?.. У, простоволосая!.. Лопочет по-своему что-то несурзное, немчинская тварь!.. Прогони ее скорее, не то я ей сейчас глаза выцарапаю...

Это была первая вспышка, такую Петр никогда еще не видал жены, и эта вспышка была вовсе не вовремя.

Царь грозно взглянул на Евдокию Федоровну, так грозно, что один его взгляд заставил молодую царицу задрожать всем телом, а потом отрывистым, звенящим голосом сказал:

– Если бы вы понимали обе, что говорит эта милая, достойная девушка, вы обе поклонились бы ей в землю.

– Как? – взвизгнула Евдокия. – Мы? царицы?

– Да! Матушка, возьми Дуню! – обратился Петр к матери. – Приоденьтесь обе, нам сейчас уехать нужно будет... спешно уехать...

Наталья Кирилловна сумела сохранить достоинство.

– Куда, сын мой любезный? – спросила она.

– К Троице-Сергию, родимая... Да немедля! Сюда идут стрельцы, подговоренные сестрой Софьей погубить всех нас... Ты, родимая, сама знаешь, что может быть, когда они найдут нас здесь...

О, Наталья Кирилловна знала, что могло быть! Уже не раз переживала она все ужасы стрелецких бунтов и, раз сын говорил так, значит, и на самом деле опасность была грозная, и единственное спасение было только в бегстве.

– Пойдем, Дунюшка, пойдем скорее! – засуетилась она, слышишь, к Троице-Сергию нам ехать надобно... Пойдем, милая, собираться скорее...

– А эта немчинская девка здесь останется?

– Не останется она, по государеву делу она здесь! – И, схватив молодую ревнивицу за руку, царица-мать потащила ее вслед за собой во внутренние покои.

– Это – ваша жена, государь? – спросила Анна Монс. – Право, она очень мила...

Молодая девушка была оскорблена. Правда, она слыхала о грубости, ревности и вообще о невыдержанности московских женщин, но никогда не могла представить себе, чтобы эта невыдержанность была так велика. На миг ею овладела неприязнь к этой хорошенькой «кукле», как она мысленно назвала молодую царицу, но, понимая всю важность переживаемого мгновения, она все-таки сумела совладать с собою.

– Да, да, – ответил ей Петр, – вы не сердитесь на нее, фрейлейн Анхен; она у меня живет по-московскому.

Ему было стыдно за выходку жены. Он заметил, какие иронические взгляды бросали на нее Анна и уже привыкший к ее выходкам Лефорнт.

«У, тетеха, кувалда московская! – мысленно бранился царь, – оставить бы тебя здесь – узнала бы, как друзей порочить!» Петр тотчас же стал отдавать распоряжения, чтобы приготовили для женщин колымагу, а для него и для его немногочисленной свиты оседлали коней.

– Я, государь, – услышал он голос Анны, – если позволите, отправлюсь с вами в монастырь...

– Со мной? Вы? – изумленно воскликнул Петр.

Еще несколько минут тому назад Монс даже и не думала о поездке вместе с царем и его семейством, но грубая выходка молодой царицы задела ее самолюбие. Ей захотелось отомстить другой женщине за то, что она считала оскорблением. Она прекрасно понимала, что должна была переживать царица, видя ее около своего супруга. Притом же тут действовало и другое соображение. Анна знала о совещании кукуевских слобожан, об их стремлениях привлечь Петра на свою сторону, знала, что старый фанатик-пастор задумал приковать Петра ко всему иноземному узами любви, для чего даже решился пожертвовать Еленой Фадемрехт, намереваясь сделать ее любовницей царя. Но, зная все это, Анна Монс думала также, что Петр совершенно равнодушен к Елене и что Елена в свою очередь любит молодого Каренина, и решила, что она будет Юдифью для этого московского Олоферна. Анна была умна и достаточно сообразительна; она отлично понимала, что, для того чтобы привлечь к себе царя, необходимо как можно сильнее поразить его воображение, и вот она сама глухой ночью примчалась в Преображенское с предупреждением об опасности.

В этом случае молоденькая девушка оказалась весьма тонким психологом. Ее поступок произвел на восприимчивого Петра впечатление, а контраст Анны и Евдокии еще более усилил его. Анна Монс выиграла сражение, и теперь ей оставалось укрепить за собою свою победу. Именно с этой целью она и вызвалась сопровождать Петра в Троице-Сергиеву лавру.

– Спешите же, государь! – заторопил Петра Лефорт. – Вам еще нужно взглянуть на ваших друзей стрельцов, мне же позвольте откланяться... Что бы там ни говорили, а наши потешные, если только дойдет до драки, сумеют постоять за себя.

Петр, уже не слушая его, прошел в соседний покой.

Там были двое стрельцов, перепуганных одной только мыслью о цареубийстве, на которое подстрекали их приверженцы правительницы Софьи.

Имена этих оставшихся верными Петру стрельцов были: Михаил Феоктистов и Дмитрий Мельков.

В стрелецких полках таких, как эти двое, было немало; есть указания на то, что Феоктистов и Мельков были только депутатами от множества товарищей, с отвращением относившихся к кровавому замыслу.

Увидав входящего царя, они пали на колени и нестройно заголосили:

– Здрав будь, государь царь великий, Петр Алексеевич!

– С чем вы? Какое у вас до меня дело? – грозно сверкнул на них своими черными глазами царь.

– Прости, государь милостивый, – опять запричитали стрельцы, – неповинны мы в том... Все проклятый Федька Шакловитый да сучий сын Шошин... Они – тому делу главные затейники; указ твоей сестры, царевны Софьи Алексеевны, показывали, говорили, что всех Нарышкиных извести надобно, потому что от них всякая зарубежная нечисть на Руси заводится... Мы же твое царское величество упредить прибежали и просим за то твоего великого жалованья: помилуй нас.

Стрельцы замолотили лбами об пол.

– Ну, там я посмотрю, чем вас пожаловать, – уже почти ласково произнес Петр, – столбами ли с перекладиной или чем другим. Вставайте! Еду я на великое богомолье к Троице-Сергию и вас с собою беру...

– Милостивец ты наш, – вскочили на ноги стрельцы, – солнышко наше красное! Грудью своею постоим за тебя, а врагу не выдадим... Царь наш пресветлый!

Их восторг был искренен, и Петр видел это, и надежда опять посетила его душу.

«Не все еще потеряно, – подумал он. – Ну, Софьюшка, сестрица милая, видится, что потягаемся еще мы с тобой!»

Уже совсем бодро, высоко подняв голову, пошел он из покоя, сопровождаемый стрельцами, лица которых сияли радостью¹⁷.

Лефорта уже не было; возвращения царя ожидала одна только Анна.

– Фрейлейн, – церемонно кланяясь ей, сказал Петр, – прошу вас занять место в колыхаге вместе с моей матушкой и супругой...

– Ну уж нет, государь! – тряхнув головой, весело ответила Анна Монс. – На коне я сюда примчалась, на коне и далее последую... Что мне собою ваших дам в колыхаге стеснять...

– Но разве вы не устали? Ведь вся ночь напролет!

– Не бойтесь, я вынослива!

– Пусть будет, как вы того желаете, – согласился Петр.

Они все вышли. Царицы были уже усажены в колыхагу, остальным были подведены оседланые кони.

Прошло несколько времени, и весь этот поезд почти бесшумно скрылся во мраке близкой к рассвету ночи.

¹⁷ Из собравшихся на Лыковом дворе и Лубянке стрельцов, всего 700 человек, верными царю Петру остались пятисотенный Елизарьев, пятидесятники Мельков и Улефов, десятники Ладыгин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Панфилов. Феоктистов и Мельков были посланы в Преображенское в качестве передовых.

XXIII. Потухший пожар

Расскажем в самых коротких словах, что случилось после. Здесь не история Петра Великого, но ход событий был бы непонятен, если бы не было этих небольших пояснительных вставок.

Петр и его семейство благополучно добрались до Троице-Сергиевой лавры и с великих почетом были приняты архимандритом Викентием и иноками этой святой обители. А в Преображенское с Шакловитым во главе ворвалась буйная ватага стрельцов, из которых многие уже оказались пьяными. Шакловитый смело и дерзко постучал в ворота дворца и заявил, что по приказанию правительницы явился занять караулы. Его пропустили, и он сейчас же убедился, что тех, кого он искал, уже нет.

Холодный пот проступил у него при одной мысли, что Петр и Нарышкины успели уйти. Ведь весь кровавый заговор был основан только на внезапности нападения. Никто лучше Шакловитого не знал, что цареубийство вовсе не было по душе значительному большинству стрельцов и народа. Был расчет, что удастся, внезапно появившись, разом кончить кровавое дело, и тогда, конечно, московский народ примирился бы с совершившимся фактом; а если бы нашлись немногие смельчаки, которые вздумали бы обличить убийц, то их всегда можно было очень скоро унять. Теперь положение разом изменилось. Если младший царь ушел из Преображенского, значит, он знал, что готовилось для него, значит, весь заговор открыт и Петру известно все, происшедшее на Лыковом дворе. Несомненно, что из своего убежища младший царь обратится к народу, и народ пойдет к нему, а если народ станет на сторону Петра, то никакая сила не справится с ним...

Так думал Шакловитый, так было и на самом деле...

Уже наутро после тревожной ночи к Петру в лавру явились стрелецкий полковник Циклер¹⁸, с ним были стрелецкие головы, рядовые стрельцы, всего более пятидесяти человек, и явились они не с повинной, а за тем, чтобы защищать царя от злых врагов. Весь день шли люди из Москвы к лавре; скоро около нее уже раскинулся шумящий лагерь.

Силы Петра все росли и росли, а вместе с этим рос и ужас его сестры. Софья была достаточно умна, чтобы понять, что ее дело проиграно. Напрасно она издала указ о том, чтобы никто не смел уходить из Москвы без ее ведома. Народ перестал повиноваться ей и шел массами к тому, кого считал своим законным царем.

Скоро в лавре явились петровские потешные. Наемные иностранные войска вступили в Москву, часть их тоже была отправлена к Петру, и командовавший этими войсками Патрик Гордон объявил, что будет повиноваться только законному царю Петру, а не его сестре. Стрельцы покидали полки и шли тоже к Петру. Сухарев стрелецкий полк явился в лавру в своем полном составе. Софью покидали все. Ее сестры, Марфа и Марья Алексеевны, вместе с престарелой теткой Татьяной Михайловной, в молодости бывшей подругой знаменитого патриарха Никона, тоже уехали из Москвы в Троице-Сергиеву лавру «на богомолье».

Гордость неукротимой царевны была сломлена. Она умоляла сестер устроить ей примирение с братом. Петр даже не пожелал их слушать. Софья упросила поехать к Петру патриарха Иоакима – результат был тот же.

Патриарх был даже рад явиться на поклон к Петру, так как усердно распространялись слухи, что он будто бы благословил стрельцов на цареубийство.

Софья отправилась сама, но дальше села Воздвиженского ее не пустили.

¹⁸ Циклер был ревностным приверженцем царевны Софьи и в лавру явился только для того, чтобы разузнать, как обстоит дело, и, если возможно, поднять смуту. Это не удалось, так как к царю Петру из Москвы с каждым днем прибывало все более и более верных ему друзей.

Тогда все бояре, кроме Голицына и его сына, бросили царевну, и 5 сентября Петр торжественно в лавре победу над своими врагами. В этот день он приказал разыскать Шакловитого и ближайших его соучастников: Розанова, Гладких, Петрова, Черного. Уже был наряжен суд, и во главе судей поставлен один из ожесточенных против Софьи бояр – Тихон Никитич Стрешнев.

В тот же день к Троице-Сергию прибыл князь Василий Васильевич.

Петр более чем милостиво отнесся к нему и ограничился тем, что приказал ему отъехать на житье в Вологду.

Петру нужен был не столько разумный вельможа-дипломат, сколько ревностный исполнитель приказаний его неукротимой сестры – Шакловитый.

Требование выдать Шакловитого перевернуло всю душу Софьи: ведь это был вернейший из ее слуг! Она сделала последнюю попытку спасти его: ринулась к старшему царю Ивану Алексеевичу, остававшемуся в Москве. Но тот даже не пожелал видеть ее... Тогда Софья послала верных людей молить его о защите ее и Шакловитого перед братом.

– Я, царь, – ответил Иван, – не только из-за такого злодея, но даже и из-за нее, царевны, не хочу ссориться с братом!

Это уже было последним ударом. Софья поняла, что ей приходится заботиться уже о себе, и решила пожертвовать Шакловитым, чтобы спасти свою жизнь.

Шакловитый исповедался, причастился Святых Тайн, плача, может быть, в первый и последний раз в жизни, простился с царевной и сам отдался в руки Стрешнева.

Жестокий был век, жестокие были сердца!

Шакловитый вел себя героем. Он знал, что его ждет, и даже не дрогнул, когда пошел на страшные муки, на ужасную смерть. Он погибал за то, что считал своей святыней. Софья из ничтожества подняла его, он отплатил ей, погибая за ее дело. Его расчет не удался, все его замыслы потерпели крушение; при удаче он выигрывал многое, при неуспехе – рассчитывался за все сполна...

XXIV. Розыск с пристрастием

Одно из зданий судного приказа старой Москвы было особенно мрачно. Его высокие окна были с рамами из такого толстого стекла, что извне даже самые зоркие глаза не могли бы рассмотреть, что такое творится внутри. В этом мрачном здании был один обширный покой со сводчатыми стенами. Мрачно было здесь; низкий потолок глушил всякий звук, а сквозь непомерно толстые стены ничто, даже самый громкий вопль, не вырвалось бы наружу. Обстановка была донельзя проста. Под окнами лицевой стороны стоял большой стол, длинный и широкий, покрытый темной материей. За ним стояли кресло и несколько табуретов. На столе были разложены толстые темные книги в свиной кожи переплетах. Поодаль, у других стен, были расставлены предметы, тоже никогда в обычном обиходе не употребляемые, стояли высокая и низкая «кобылы» – толстое круглое бревно на толстых неуклюжих подставках-ножках, по стенам висели разной величины клещи, ломы, тиски, разных форм воронки. В углу был свален пук коротких и длинных палок и лежали охапки веревок. Около стояла большая жаровня. В двух местах в потолок были вбиты крюки и через них пропущены порядочно обтерханные веревки, один конец которых был раздвоен.

Этот «мрачный покой» был застенок, тот самый застенок, в котором так «геройствовал» Малюта Скуратов и в котором после него подвизались неизвестные в истории, но столь же усердные к своему делу его преемники. Много человеческих мук видели эти толстые стены, страшные вопли боли и отчаяния глушили они, но все, что свершалось здесь, вершилось «во имя правды», ради достижения правосудия... Этот ужасный застенок как официальное государственное учреждение появился в России почти одновременно с появлением в ней «носительницы древней пышной культуры», греческой царевны Софьи Палеолог.

Много жестокостей совершалось в России, пока она развивалась самобытно, но когда после татарщины был насажден худший, чем и эта беда, византизм, то он принес с собой на Русь царский титул ее правителям и великие муки управляемым. До Иоанна III пыток в России не было, как не было и публичной смертной казни. Впервые о пытках говорится в судебнике Иоанна III около 1497 года. С тех пор и пошло, и пошло... Лучшие государственные умы стали изощряться в изобретении все новых и новых пыток, разнообразных видов казней. И с тех пор пытка процветает.

В один дождливый октябрьский вечер 1689 года, к концу второго месяца после неудачного покушения Софьи на жизнь своего венчанного на царство брата, в застенке заметно было большое оживление.

Гордо подняв голову, расхаживал по покою «заплечный мастер» – палач, высокий, ражий детина, великан по сложению, с необыкновенно длинными руками. Он громко покрикивал на своих подручных, возившихся около свисшей с потолка веревки с двумя концами и около жаровни, которую они раздували; третьи отбирали пушистые веники с сухими листьями, размахивали плетями из жгутов, свитых из воловьей шкуры. Ясно было видно, что в застенке в этот вечер готовилось что-то необычайное.

– Шевелись, ребята, – покрикивал заплечный мастер, – не каждый день такие куски к нам в застенок попадают... Надоело кости всяких смердов ломать; чуть плеть увидят, хныкать начинают, а клещи покажешь – визгу не оберешься...

– Да, пришлось-таки поработать! – отозвался один из подручных. – Давно уже не было столько работы...

– Ну, что там за работа была!.. Стрельчишки разные из всяких гулящих, никчемных людей... А тут честь на нашу долю такая великая выпадает: знаешь, поди, сам, кто такой Федька Шакловитый был?

– Еще бы, окольниковый!

– То-то и оно, главный стрелецкий воевода... Эва, куда занесся, а наших рук все-таки не миновал... Эх и потешим мы Федьку, так потешим, что до конца дней своих не забудет...

Подручные засмеялись.

– Чего вы? – крикнул им заплечный мастер.

– Да как же чего? «До конца дней не забудет!» Ведь не сегодня завтра нам на лобном месте работать над ним придется, а ты – «до конца дней не забудет»...

– Ну, пока там лобное место – это еще впереди, а вы теперь, ребята, перед боярином-то Стрешневым лицом в грязь не ударьте... Постарайтесь!..

– Да уж ладно! Чего там! Постараемся! – раздались суровые ответы.

В страшном покое темнело все более и более. В полутемноте кроваво-красным глазом казалась разгоревшаяся и чадившая углями жаровня. Ее свет был ничтожен. Зажгли светцы (особые осветительные приборы), горевшие также весьма тускло. Заплечные мастера разбрелись по углам в ожидании начала своей страшной работы, а боярин Стрешнев, как на грех, все не шел в застенок, да не вели и Шакловитого, для которого и собраны были сюда все эти страшные люди.

Вдруг где-то в отдалении раздались шум, хлопанье тяжелых дверей, людские голоса.

– Идут! – так и встрепнулись все в застенке.

Действительно, скоро шум и голоса раздались у самых дверей; они распахнулись – и вошел высокий старик-боярин с утомленным суровым лицом.

Это и был боярин Стрешнев, которому Петром был поручен розыск, то есть судебное следствие – вернее, расправа – над главными злоумыслителями августовского покушения.

Не ошибся Петр в своем выборе: лют оказался боярин Стрешнев! Милославские были его давнишними врагами, и он рад был причинить им всякое страдание, а так как не достать ему их было, то он вымещал свою яростную злобу на тех, кто служил им.

Вошел боярин, все оживилось вокруг.

– Здравствуйте, мастера! – сказал Стрешнев, даже не двигая своей седой головой. – Работишка есть для вас, постарайтесь...

– Здрав будь, боярин! – с поклоном ответили мрачные люди. – Работы мы не боимся... Приказывай только, все исправим...

– То-то!

Боярин прошел к столу, снял свою высокую шапку, расправил бороду и уселся в среднее кресло.

Вместе с ним вошли дьяк судного приказа, подьячие с засунутыми за уши гусиными перьями, и тут же следом ввели трясущегося, дрожащего молодого парня в сильно изорванном стрелецком кафтане, а за ним, окруженный молодыми потешными (стрельцам уже не доверяли), гордо выступая, высоко подняв красивую голову, шел окольный Федор Леонтьевич Шакловитый. Парень в стрелецком кафтане был Кочет.

Едва только Шакловитый приблизился к столу, как Стрешнев, словно подтолкнутый какой-то пружиной, вскочил с кресла и закланялся с преувеличенным почтением узнику.

– Феденька, друг, – воскликнул он, – вон и здесь привелось встретиться... Что поделаешь-то? Встречались прежде в палатах царских, а теперь вон, сам поди знаешь, какой здесь дворец.

– Брось, боярин, – презрительно усмехнулся Шакловитый, – к чему все это? Делай свое дело...

– Да ты что, Федя? Никак гневаться изволишь? Грех тебе, стыдно! – притворно огорчаясь, воскликнул Стрешнев. – Для тебя же, сердечный друг, стараюсь... Разве мы не свои? Поклеп тут на тебя взведен, так нужно же правду разыскать... Ведь нехорошо, Федя, ежели ты в подозрении останешься.

XXV. Допрос

Шакловитый презрительно усмехнулся. Стрешнев искоса взглянул на него и тоже засмеялся. Он немного подождал, не скажет ли чего-либо окольный, потом, поманив к себе Кочета, сказал:

– А ну-ка, молодец, пожалуй сюда...

Кочет метнулся вперед и у самого судейского стола упал на колени.

– Ой, боярин-милостивец, – заголосил он, – не буду... Богом клянусь, никогда не буду...

– Да ты чего это, Кочет, – представился удивленным Стрешнев, – чего ты не будешь?

– Ничего не буду, как есть ничего... И детям, и внукам, и правнукам закажу, чтобы они оборотней и во сне не видывали...

– Далеко хватил, парень! – усмехнулся Стрешнев и, многозначительно крикнув, прибавил: – Про детей да внуков ты нам не говори, еще не видно, будут они у тебя или нет! Ты нам про себя лучше поведай... Правду скажи: видел оборотня-то со смертью?

– Ой, государь-боярин, видел, вот как тебя вижу... Царев облик оборотень принял, и смерть около него...

– А ну-ка, ну-ка, расскажи! – дозволил Стрешнев.

Кочет заговорил. Его голос и дрожал, и срывался, но говорил он правду. Без всяких прикрас рассказал он о своих ночных похождениях в Кукуй-слободе и только на одном стоял неотступно, что видел в пасторском домике оборотня в образе царя, а около него – костлявую смерть.

– Так оборотня-то своими глазами видел? – добродушно усмехаясь, спросил боярин.

– Его, боярин милостивый, его самого, неумытого, вот как тебя вижу, – опять повторил Кочет свою фразу, очевидно казавшуюся ему убедительной.

– Так, так... Ну а кто тебя научил так говорить?

Кочет смутился.

– Никто, боярин... Что было, то говорю...

– А я тебе говорю, что нет! – вдруг, меняясь, загремел боярин. – Враги царицы приказали так говорить тебе, негоднику, чтобы смуту на Москве развести... Сейчас говори, кто?

Кочет смущенно молчал.

– А, не хочешь сказывать! Ворогов укрываешь! Так мы тебя заставим сказать невольно... Послушаем, какие ты у нас песни запоешь... Эй, кат!

Выдвинулся заплечный мастер, двое его помощников очутились за спиной Кочета.

– Помилуй, боярин! – ударился тот лбом о пол. – Все я сказал.

– Врешь! Окольный Шакловитый тебя не научал такие слова говорить?

– Да я, боярин, Федора Леонтьевича только издали видел, слова у меня с ним сказано не было.

– А вот это мы увидим, – пообещал боярин Стрешнев. – Так что же, молодец, скажешь ты нам или нет, кто тебя научал на это дело?

– Полно, боярин! – с презрением глядя на него, сказал Шакловитый. – Ну чего ты еще время понапрасну теряешь: «кто сказал, кто научал»... Никто не повинен, сам я творил все! Вот тебе и весь сказ!

Стрешнев вскинул на него свой злой взор и ехидно засмеялся:

– Погоди, Федор Леонтьевич, какой ты скорый! Знаем мы твою доброту да любовь к этой стрелецкой братии!.. Ты и всяческую напраслину на себя готов склепать, только бы своих молодцов вызволить, а правда от этого умаление терпит... Нет, ты уж погоди!.. Эй, кат! – Злые глаза боярина так и сверкнули; он крикнул: – На дыбу!..

Помощники палача схватили Кочета и потащили его к спущенной с потолка веревке с двумя концами. Несчастный стрелец страшно завопил. Шакловитый отвернулся в сторону; он знал, что ему ничего не поделать, что его самого ждет куда горшая участь...

– Вы молодца-то, заплечные мастера, прежде на кобыле растяните! Может, он, как вы его плетью погладите, упрямиться перестанет и всю правду выложит, – велел Стрешнев.

В один миг несчастный Кочет, обнаженный и неистово вопивший, был разложен на бревне с подставками так, что его ноги и руки спускались с обеих сторон кобылы, а на ней оставалось лишь его туловище.

– Какую, боярин, прикажешь, – подошел к Стрешневу с двумя ременными плетями заплечный мастер, – большую иль малую?

– Великое дело было ими задумано, так с большой и начинай.

XXVI. Дыба

Палач швырнул одну из плетей в угол, другою же сильно взмахнул несколько раз в воздухе; каждый раз при взмахивании слышались свист и характерное щелканье.

– Ой, ожгу! – вдруг как-то особенно дико выкрикнул он, после чего взмахнул рукой, и плеть со свистом опустилась на спину Кочета.

Тот страшно взвизгнул; на его спине сразу же вздулась широкая багрово-красная полоса.

– Что, не под веничек ли прикажешь, боярин? – спросил палач.

– Вот-вот, старайся, молодец! – было ответом.

Плеть все чаще и чаще замелькала в воздухе, вопль истязаемого стал непрерывным; вся его спина, с которой плетью сорвана была кожа, обратилась в одну сплошную рану, местами вздувшуюся пузырями, местами кровоточившую.

– погоди, погоди, мастер, – остановил палача Стрешнев, – дай малому передохнуть! Да и ты поди устал, сердечный?

– Ничего, – сумрачно ответил палач, – нам это дело привычное.

Кочета сняли с кобылы и подвели к судейскому столу.

– Ну что, добрый молодец, – совсем ласково спросил допросчик, – не вспомнил, кто наущал тебя на великого государя небылицы взводить?

– Ой, боярин-милостивец, – завопил молодой стрелец, – все я тебе сказал, все! Да и ничего я про великого государя и не говорил... Про оборотня я болтал... Так нешто оборотень-то – великий государь?.. Так, нечистая сила.

Боярин, покачав головой, возразил:

– Упорствуешь ты, молодец; столь молод и столь упорен, нехорошо это... Про Бога вспомни! Взгляни-ка, люди над тобой умаялись... Их бы пожалел, сказал бы святую правду... Бог-то правду видит... Ну, что же ты?

Кочет молчал. Стрешнев взглянул на Шакловитого; тот поймал этот взгляд и по-прежнему презрительно усмехнулся.

Тогда боярин не выдержал и, нахмурясь, грозно закричал:

– Эй, кат, подвесь-ка его да попарь ножки веничком, ножки ему нагрей; авось с пылу-то, как согреется, и молчать не будет...

Кочет стоял, дико озираясь по сторонам. Он весь дрожал, и то и дело поводил языком по воспаленным, сухим губам. Палачи опять схватили его и подтащили к спущенной с потолка веревке.

В один миг руки истязаемого были закручены за спину и на кисти каждой из них надеты петли, которыми заканчивались концы веревки. Все стихло в застенке. Горящими злобой глазами смотрел на приготовления к пытке Стрешнев. По-прежнему отвернувшись в сторону, стоял Шакловитый. О чем он думал в эти страшные мгновения? Быть может, о том счастье, которое было так близко и вдруг выскользнуло из его рук; быть может, о том, что ждет обожаемую им царевну, от которой он видел столько добра; быть может, он вспоминал свои заграничные поездки в составе посольств, картины роскошного Стамбула, великолепной Венеции, гордого красавца Рима... Но его лицо было невозмутимо спокойно, ни тревоги, ни страха не отражалось на нем.

А заплечные мастера, не спеша, делали свое ужасное дело. Трое из них схватились за свободный конец веревки и стали тянуть его к себе. Веревка натянулась, тело Кочета поднялось на воздух и, наконец, повисло на руках. Слышался хруст костей; вопли несчастной жертвы становились все громче, все жалобнее. Но не поддавались еще суставы. Кочет висел на руках, но он был слишком легок, чтобы вывернуть их. Тогда палач с диким визгом бросился к нему, охватил его стан и сам повис на нем. Раздался нечеловеческий крик; кости хрустнули так сильно,

что этот хруст раздался по всему застенку, и тотчас же вышедшие из суставов руки вытянулись
вдоль головы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.